МИХАИЛ ШОЛОХОВ

ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1987

84Р7—44

Ш69

Шолохов М.

Ш69 Донские рассказы.—Алма-Ата: Жазушы, 1987. 224 с.

Гражданская война на Дону, ожесточенная классовая борьба — вот темы ранних рассказов Михаила Шолохова. Ярко и талантливо, в острых социально-общественных и лично-бытовых конфликтах раскрывает писатель действительность. Написанные в 20-е годы, эти произведения вошли в золотой фонд советской литературы.

Ш $\frac{4702010200—065}{402(05)—87}$ 199—87 84Р7—44

РОДИНКА

1

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе,— анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: *Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.*

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: *18 лет.*

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая,— говорят шутя в эскадроне,— а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок!— кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним

купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, пóтом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью Советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вна́зирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман. на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги[1] степной. Боль, чудна́я и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует

[1] **М у з г а — озерко, болотце.**

атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок: поглядел кверху глазами слёзливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок... Ты нас не бойся,— миролюбиво просипел атаман.— Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути,— сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик.— Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал:— Мы, дед,

коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело!— Споткнулся, повод роняя из рук.— Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути,— сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница, и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернышку собирал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут! Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня?— Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня,— голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет?— окрик тревожный в тишине.

— Я это...— шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди...— крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостно поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчера затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!..— С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Намётом!— крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

* * *

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук!— падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать!— кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает»,— обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза: веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но крепко закусил

Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

* * *

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924

ПАСТУХ

I

Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода — шестнадцать суток дул горячий ветер.

Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли; а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, квело поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбатившись по-стариковски.

В полдень по хутору задремавшему — медные всплески колокольного звона.

Жарко. Тишина. Лишь вдоль плетней шаркают ноги — пылищу гребут, да костыли дедов по кочкам выстукивают — дорогу щупают.

На хуторское собрание звонят. В повестке дня — наем пастуха.

В исполкоме — жужжанье голосов. Дым табачный.

Председатель постучал огрызком карандаша по столу.

— Граждане, старый пастух отказался стеречь табун, говорит, мол, плата несходная. Мы, исполком, предлагаем нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист... Отец его, как известно вам, чеботарь был. Живет он с сестрой, и пропитаниев у них нету. Думаю, граждане, вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун.

Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал.

— Нам этого невозможно... Табун здоровый, а он какой есть пастух!.. Стеречь надо в отводе, потому вблизости кормов нету, а его дело непривычное. К осени и половины телят недосчитаемся...

Игнат-мельник, старичишка мудреный, ехидным голоском медовым загнусавил:

— Пастуха мы и без сполкома найдем, дело нас одних касаемо... А человека выбрать старого, надежного и до скотины обходительного...

— Правильно, дедушка...

— Старика наймете, гражданы, так у него скорей пропадут теляты... Времена ноне не те, воровство везде огромадное...— Это председатель сказал настоисто так и выжидательно; а тут сзади поддерживали:

— Старый негож... Вы возьмите во внимание, что это не коровы, а телята-летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун — поди собери, дедок побежит и потроха растеряет...

Смех перекатами, а дед Игнат свое сзади вполголоса:

— Коммунисты тут ни при чем... С молитвой надо, а не абы как...— И лысину погладил вредный старичишка.

Но тут уж председатель со всей строгостью:

— Прошу, гражданин, без разных выходок... За такие... подобные... с собрания буду удалять...

Зарею, когда из труб клочьями мазаной ваты дым ползет и стелется низко на площади, собрал Григорий табун в полтораста голов и погнал через хутор на бугор седой и неприветливый.

Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор; свистят сурки протяжно и настороженно; из логов с травою приземистой стрепета взлетают, посеребренным опереньем сверкая.

Табун спокоен. По земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыта телят.

Рядом с Григорием шагает Дунятка — сестра-подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, вся смеется, потому что на красную горку пошла ей всего-навсего семнадцатая весна, а в семнадцать лет все распотешным таким кажется: и насупленное лицо брата, и телята лопоухие, на ходу пережевывающие бурьянок, и даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба.

А Григорий не смеется. Под картузом обветшавшим у Григория лоб крутой, с морщинами поперечными, и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет.

Спокойно идет табун обочь дороги, рассыпавшись пятнистой валкой.

Григорий свистнул на отставших телят и к Дунятке повернулся:

— Заработаем, Дунь, хлеба к осени, и там в город поедем. Я на рабфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою... Может, тоже на какое ученье... В городе, Дунятка, книжек много и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас.

— А денег откель возьмем... ехать-то?

— Чудачка ты... Хлебом заплатят нам двадцать пудов, ну вот и деньги... Продадим по целковому за пуд, потом пшено продадим, кизеки.

Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем в пыли чертит, высчитывает.

— Гриша, чего мы есть будем? Хлеба ничуть нету...

— У меня в сумке кусок пышки черствой остался.

— Ныне съедим, а завтра как же?

— Завтра приедут с хутора и привезут муки... Председатель обещался...

Жарит полдневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла.

Идет табун беспокойно, жалят телят овода и мухи, в воздухе нагретом виснет рев скота и зуденье оводов.

К вечеру, перед закатом солнца, подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш с соломой, от дождей перепревшей.

Григорий обогнал табун рысью. Тяжело подбежал к базу, воротца хворостяные отворил. Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот.

II

На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий покрыл.

На другой день председатель приехал верхом. Привез полпуда муки кукурузной и сумку пшена.

Присел, закуривая, в холодке:

— Парень ты хороший, Григорий. Вот достережешь табун, а осенью поедем с тобой в округ. Может, оттель какими способами поедешь учиться... Знакомый есть там у меня из наробраза, пособит...

Пунцовел Григорий от радости и, провожая председателя, стремя ему держал и руку сжимал крепко. Долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт.

Степь, иссохшая, с чахоточным румянцем зорь, в полдень задыхалась от зноя. Лежа на спине, смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просинью, и казалось ему, что степь живая и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов. Казалось, что в прерывистом дыханье колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная, неведомая жизнь.

И среди белого дня становилось жутко.

Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистое марево, на табун, испятнавший коричневую траву, думал, что от мира далеко отрезан, будто ломоть хлеба.

Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и пахучего воробьиного щавеля.

Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнутовищем кизяки духовитые:

— Гришакина телка захворала. Надо бы хозяину переказать.

— Может, мне на хутор пойтить?..— спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной.

— Не надо. Табун не устерегу один...— Улыбнулся:— По людям заскучала, а?

— Соскучилась, Гриша, родненький... Месяц живем в степи и только раз человека видели. Тут если пожить лето, так и гутарить разучишься...

— Терпи, Дунь... Осенью в город уедем. Будем учиться с тобой, а посля, как выучимся, вернемся сюда. По-ученому землю зачнем обрабатывать, а то ить темень у нас тут и народ спит... Неграмотные все... книжек нету...

— Нас с тобой не примут в ученье... Мы тоже темные...

— Нет, примут. Я зимою, как ходил в станицу, у секретаря ячейки читал книжку Ленина. Там сказано, что власть — пролетариям, и про ученье прописано: что, мол, учиться должны, которые из бедных.

Гришка на колени привстал, на щеках его заплясали медные отблески света.

—Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашевской республикой. В городах — там власть рабочие держут, а у нас председатель станицы — кулак и по хуторам председатели — богатеи...

— Я бы, Гриша, полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился...

Кизяки тлеют, дымясь и вспыхивая. Степь молчит, полусонная.

III

С милиционером, ехавшим в округ, переказывал Григорию секретарь ячейки Политов в станицу прийти.

До света вышел Григорий и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жестью.

Волоча намозоленные ноги, добрел до площади.

Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнущим свежей соломой, вошел в просторную комнату.

От ставней закрытых — полутемно. У окна Политов рубанком орудует — раму мастерит.

— Слыхал, брат, слыхал...— Улыбнулся, подавая вспотевшую руку.— Ну, ничего не попишешь! Я справлялся в округе: там на маслобойный завод ребята требовались, оказывается, уже набрали на двенадцать человек больше, чем надо... Постерегешь табун, а осенью отправим тебя в ученье.

— Тут хоть бы эта работа была... Кулаки хуторные страсть как не хотели меня в пастухи... Мол, комсомолец — безбожник, без молитвы будет стеречь...— смеется устало Григорий.

Политов рукавом смел стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей, нахмуренных и мокрых от пота.

— Ты, Гриша, худющий стал... Как у тебя насчет жратвы?

— Кормлюсь.

Помолчали.

— Ну, пойдем ко мне. Литературы свежей тебе дам: из округа получили газеты и книжки.

Шли по улице, уткнувшейся в кладбище. В серых ворохах золы купались куры, где-то скрипел колодезный журавль да тягучая тишина в ушах звенела.

— Ты оставайся нынче. Собрание будет. Ребята уже заикались по тебе: «Где Гришка, да как, да чего?» Повидаешь ребят... Я нынче доклад о международном положении делаю... переночуешь у меня, а завтра пойдешь. Ладно?

— Мне ночевать нельзя. Дунятка одна табун не устерегет. На собрании побуду, а как кончится — ночью пойду.

У Политова в сенцах прохладно.

Сладко пахнет сушеными яблоками, а от хомутов и шлей, развешанных по стенам,— лошадиным потом.

В углу — кадка с квасом, и рядом кривобокая кровать.

— Вот мой угол: в хате жарко...

Нагнулся Политов, из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки.

Сунул Григорию в руки и излатанный мешок растопырил:

— Держи...

За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами нижет.

Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся.

Принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул:

— Пойдешь домой — захвати вот это!

— Не возьму я...— вспыхнул Григорий.

— Как же не возьмешь?

— Так и не возьму...

— Что же ты, гад!— белея, крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил.— А еще товарищ! С голоду будешь дохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба врозь...

— Не хочу я брать у тебя последнее...

— Последняя у попа попадья,— уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок.

Собрание окончилось перед рассветом.

Степью шел Гришка. Плечи оттягивал мешок с мукой, горели до крови растертые ноги, но бодро и весело шагал он навстречу полыхавшей заре.

IV

Зарею вышла из шалаша Дунятка помету сухого собрать на топку. Григорий рысью от база бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе.

— Аль поделалось что?

— Телушка Гришакина сдохла... Еще три скотинки захворали.— Дух перевел, сказал:— Иди, Дунь, в хутор. Накажи Гришаке и остальным, чтоб пришли нонче... скотина, мол, захворала.

Наскорях покрылась Дунятка. Зашагала Дунятка через бугор от солнышка, ползущего из-за кургана.

Проводил ее Григорий и медленно пошел к базу.

Табун ушел в падинку, а около плетней лежали три телки. К полудню подохли все.

Мечется Григорий от табуна к базу: захворало еще две штуки...

Одна возле пруда на сыром иле упала; голову повернула к Гришке, мычит протяжно; глаза выпуклые слезой стекленеют, а у Гришки по щекам, от загара бронзовым, свои соленые слезы ползут.

На закате солнца пришла с хозяевами Дунятка... Старый дед Артемыч сказал, трогая костылем недвижную телку:

— Шуршелка — болесть эта... Теперя начнет весь табун валять.

Шкуры ободрали, а туши закопали невдалеке от пруда. Земли сухой и черной насыпали свежий бугор.

А на другой день снова по дороге в хутор вышагивала Дунятка. Заболело сразу семь телят...

Дни уплывали черной чередою. Баз опустел. Пусто стало и на душе у Гришки. От полутораста голов осталось пятьдесят. Хозяева приезжали на арбах, обдирали издохших телят, ямы неглубокие рыли в падинке, землей кровянистые туши прикидывали и уезжали. А табун нехотя заходил на баз; телята ревели, чуя кровь и смерть, невидимо ползающую промеж них.

Зорями, когда пожелтевший Гришка отворял скрипучие ворота база, выходил табун на пастьбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил.

Запах разлагающегося мяса, пыль, вздернутая беснующимся скотом, рев, протяжный и беспомощный, и солнце, такое же горячее, в медлительном походе идущее через степь.

Приезжали охотники с хутора. Стреляли вокруг плетней база: хворь лютую пугали от база. А телята всё дохли, и с каждым днем редел и редел табун.

Начал замечать Гришка, что разрыты кое-какие могилы; кости обглоданные находил неподалеку; а табун, беспокойный по ночам, стал пугливый.

В тишине, ночами, вдруг разом распухал дикий рев, и табун, ломая плетни, метался по базу.

Телята повалили плетни, кучками переходили к шалашу. Спали возле огня, тяжело вздыхая и пережевывая траву.

Гришка не догадывался до тех пор, пока ночью не проснулся от собачьего бреха. На ходу надевая полушубок, выскочил из шалаша. Телята затерли его влажными от росы спинами.

Постоял у входа, собакам свистнул и в ответ услышал из Гадючей балки разноголосый и надрывистый волчий вой. Из тернов, перепоясавших гору, басом откликнулся еще один...

Вошел в шалаш, жирник засветил.

— Дуня, слышишь?

Переливчатые голоса потухли вместе со звездами на заре.

V

Поутру приехали Игнат-мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше чирики латал. Вошли старики. Дед Игнат шапку снял, щурясь от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял — перекреститься хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу. Разглядел и на полдороге торопливо сунул руку за спину; сплюнул злобно.

— Так-с... Иконы божьей, значит, не имеешь?..

— Нет...

— А это кто же на святом месте находится?

— Ленин.

— То-то и беда наша... Бога нетути, и хворь тут как тут... Через эти самые дела и телятки-то передохли... Охо-хо, вседержитель наш милостивый...

— Теляты, дедушка, оттого дохли, что ветеринара не позвали.

— Жили раньше и без ветинара вашего... Ученый ты больно уж... Лоб бы свой нечистый крестил почаще, и ветинар не нужен был бы.

Михей Нестеров, ворочая глазами, выкрикнул:

— Сыми с переднего угла нехристя-то!.. Через тебя, поганца, богохульщика, стадо передохло.

Гришка побледнел слегка.

— Дома бы распоряжались... Рот-то нечего драть... Это вождь пролетариев...

Накочетился Михей Нестеров, багровея, орал:

— Миру служишь — по-нашему и делай... Знаем вас, таких-то... Гляди, а то скоро управимся.

Вышли, нахлобучив шапки и не прощаясь.

Испуганная глядела на брата Дунятка.

А через день пришел из хутора кузнец Тихон — телушку свою проведать.

Сидел возле шалаша на корточках, цигарку курил, говорил, улыбаясь горько и криво:

— Житье наше поганое... Старого председателя сместили, управляет теперича Михея Нестерова зять. Ну, вот и крутят на свой норов... Вчерась землю делили: как только кому из бедных достается добрая полоса, так зачинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатеи... Позабрали они, Гришуха, всю добрую землицу. А нам суглинок остался... Вот она, песня-то какая...

До полуночи сидел у огня Григорий и на шафранных разлапистых листьях кукурузы углем выводил заскорузлые строки. Писал про неправильный раздел земли, писал, что вместо ветеринара боролись стрельбою с болезнью скота. И, отдавая пачку сухих исписанных кукурузных листьев Тихону-кузнецу, говорил:

— Доведется в округ сходить, то спросишь, где газету «Красную правду» печатают. Отдашь им вот это... Я разбористо писал, только не мни, а то уголь сотрешь...

Пальцами обожженными, от угля черными, бережно взял шуршащие листки кузнец и за пазуху возле сердца положил. Прощаясь, сказал с той же улыбкой:

— Пешком пойду в округ, может, там найду Советскую власть... Полтораста верст я за трое суток покрою. Через неделю, как вернуся, так гукну тебе...

VI

Осень шла в дождях, в мокрости пасмурной.

Дунятка с утра ушла в хутор за харчами.

Телята паслись на угорье. Григорий, накинув зипун, ходил за ними следом, головку поблекшую придорожного татарника мял в ладонях задумчиво. Перед сумерками, короткими по-осеннему, с бугра съехали двое конных.

Чавкая копытами лошадей, подскакали к Григорию.

В одном опознал Григорий председателя — зятя Михея Нестерова, другой — сын Игната-мельника.

Лошади в мыле потном.

— Здорово, пастух!..

— Здравствуйте!..

— Мы к тебе приехали...

Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами иззябшими; достал желтый газетный лист. Развернул на ветру.

— Ты писал это?

Заплясали у Григория его слова, с листьев кукурузных снятые, про передел земли, про падеж скота.

— Ну, пойдем с нами!

— Куда?

— А вот сюда, в балку... Поговорить надо...— Дергаются у председателя посинелые губы, глаза шныряют тяжело и нудно.

Улыбнулся Григорий:

— Говори тут.

— Можно и тут... коли хочешь...

Из кармана наган выхватил... прохрипел, задергивая мордующуюся лошадь.

— Будешь в газетах писать, гадюка?

— За что ты?..

— За то, что через тебя под суд иду! Будешь кляузничать?.. Говори, коммунячий ублюдок!..

Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием.

Под ноги вздыбившейся лошади повалился Григорий, охнул,

пальцами скрюченными выдернул клок порыжелой и влажной травы и затих.

С седла соскочил сын Игната-мельника, в пригоршню загреб ком черной земли и в рот, запенившийся пузырчатой кровью, напихал...

* * *

Широка степь и никем не измерена. Много по ней дорог и проследков. Темней темного ночь осенняя, а дождь следы лошадиных копыт начисто смоет...

VII

Изморось. Сумерки. Дорога в степь.

Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба да костыль в руках.

Идет Дунятка обочь дороги. Ветер полы рваной кофты рвет и в спину ее толкает порывами.

Степь кругом залегла неприветная, сумрачная. Смеркается.

Курган завиднелся невдалеке от дороги, а на нем шалаш с космами разметанного бурьяна.

Подошла походкой кривою, как будто пьяною, и на могилку осевшую легла вниз лицом.

Ночь...

Идет Дунятка по шляху наезженному, что лег прямиком к станции железнодорожной.

Легко ей идти, потому что в сумке, за спиною, краюха хлеба ячменного, затрепанная книжка со страницами, пропахшими горькой пылью, да Григория-брата рубаха холщовая.

Когда горечью набухнет сердце, когда слезы выжигают глаза, тогда где-нибудь, далеко от чужих глаз, достает она из сумки рубаху холщовую нестираную... Лицом припадает к ней и чувствует запах родного пота... И долго лежит неподвижно...

Версты уходят назад. Из степных буераков вой волчий, на житье негодующий, а Дунятка обочь дороги шагает, в город идет, где Советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой.

Так сказано в книжке Ленина.

1925

ПРОДКОМИССАР

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар.

Говорил, торопясь и дергая выбритыми досиня губами:

— По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру вот как...— Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко.— Злостно укрывающих — расстреливать!..

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил: подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

— Сволочь ты, батя...

— Я?!

— Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал,— бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберешься — назад вертайся,— и ухмыльнулся.

Так было,— а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул

Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился:

— Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает...

И, меняя тон на серьезный, добавил:

— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала сказал:

— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем...

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

— Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

— Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза.

— С красными, сынок?

— С ними, батя.

— Тэ-э-эк...— В сторону отвел взгляд.

Помолчали.

— Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу.

— Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю,— я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим пóтом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты

с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!...

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема...— сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым:— Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит матерь божия,— своими руками из тебя душу выну.

* * *

Вечером за станицей мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:

— Становитесь до яру ближче...

Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придушенно:

— Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

— Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

IV

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

— Не уйдут коммунисты!...

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза.

— Черта с два догонят!

Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор лег верст на тридцать. Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от станицы, в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

— Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

— Я, дяденька, замерзаю... Я — сирота... по́ миру хожу.— Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади. Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

— Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть спой-мать нас!..— богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина.— Догонят — зарубают!.. Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый украинец, поводья натянул:

— Не можно уйти! Шабаш!..

Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

— За гриву держись, головастик!

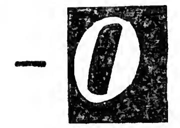
Ударил ножнами шашки по потному крупу коня, Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи...

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень.

1925

ШИБАЛКОВО СЕМЯ

— бразованная ты женщина, очки носишь, а того не возьмешь в понятие... Куда я с ним денусь? Отряд наш стоит верстов сорок отсель, шел я пеши и его на руках нес. Видишь, кожа на ногах порепалась? Как ты есть заведывающая этого детского дома, то прими дитя! Местов, говоришь, нету? А мне куда его? В достаточности я с ним страданьев перенес. Горюшка хлебнул выше горла... Ну да, мой это сынишка, мое семя... Ему другой год, а матери не имеет. С маманькой его вовсе особенная история была. Что ж, я моґу и рассказать. Позапрошлый год находился я в сотне особого назначения. В ту пору гоняли мы по верховым станицам Дона за бандой Игнатьева. Я в аккурат пулеметчиком был. Выступаем как-то из хутора, степь голая кругом, как плешина, и жарынь неподобная. Бугор перевалили, под гору в лесок зачали спущаться, я на тачанке передом. Глядь, а на пригорке в близости навроде как баба лежит. Тронул я коней, к ней правлюсь. Обыкновенно — баба, а лежит кверху мордой, и подол юбки выше головы задратый. Слез, вижу — живая, двошит... Воткнул ей в зубы шашку, разжал, воды из фляги плеснул, баба оживела навовсе. Тут подскакали казаки из сотни, допрашиваются у нее:

— Что ты собою за человек и почему в бессовестной видимости лежишь вблизу шляха?..

Она как заголосит по-мертвому,— насилу дознались, что банда из-под Астрахани взяла ее в подводы, а тут снасильничали и, как водится, кинули посередь путя... Говорю я станишникам:

— Братцы, дозвольте мне ее на тачанку взять, как она пострадавши от банды.

Тут зашумела вся сотня:

— Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущи, стервы, нехай трошки подправится, а там видно будет!

Что ж ты думаешь? Хоть и не обожаю я нюхать бабьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее, на свой грех. Пожила, освоилась — то лохуны казакам выстирает, глядишь, латку на шаровары кому посодит, по бабьей части за сотней надглядала. А нам уж как будто и страмотно бабу при сотне содержать. Сотенный матюкается:

— За хвост ее, курву, да под ветер спиной!

А я жалкую по ней до высшего и до большего степени. Зачал ей говорить:

— Метись отсель, Дарья, подобру-поздорову, а то присватается к тебе дурная пуля, посля плакаться будешь...

Она в слезы, в крик ударилась:

— Расстрельте меня на месте, любезные казачки́, а не пойду от вас!

Вскорости убили у меня кучера, она и задает мне такую заковырину:

— Возьми меня в кучера? Я дескать, с коньми могу не хуже иного прочего обходиться...

Даю ей вожжи.

— Ежели,— говорю,— в бою не вспопашишься в два счета тачанку задом обернуть — ложись посередь шляха и помирай, все одно запорю!

Всем служилым казакам на диво кучеровала. Даром что бабьего пола, а по конскому делу разбиралась хлеще иного казака. Бывало, на позиции так тачанку крутнет, ажник кони в дыбки становятся. Дальше — больше... Начали мы с ней путаться. Ну, как полагается, забрюхатела она. Мало ли от нашего брата бабья страдает. Этак месяцев восемь гоняли мы за бандой. Казаки в сотне ржут:

— Мотри, Шибалок, кучер твой с харча казенного какой гладкий стал, на козлах не умещается!

И вот выпала нам такая линия — патроны прикончились, а подвозу нет. Банда расположилась в одном конце хутора, мы в другом. В очень секретной тайне содержим от жителей, что патрон не имеем. Тут-то и получилась измена. Посередь ночи — я в заставе был — слышу: стоном гудет земля. Лавой идут по-за хутором и оцепить нас имеют в виду. Прут в наступ, явственно без всяких опасениев, даже позволяют себе шуметь нам:

— Сдавайтесь, красные казачќи, беспатронники! А то, братушки, наганами вас на склизкое!..

Ну, и нагнали.. Так накрутили нам хвосты, что довелось-таки мерять по бугру, чья коняка добрее. Поутру собрались верстах в пятнадцати от хутора, в лесу, и доброй половины своих недосчитались. Какие ушли, а остатних порубали. Ущемила меня тоска — житья нету, а тут Дарью хворь обротала. Ве́рхи поскакалась ночью и вся собой сменилась, почернела. Гляжу, покрутилась с нами и пошла от становища в лес, в гущину. Я такое дело смекнул и за ней по следу. Забилась она в яры, в бурелом, вымоину нашла и, как волчиха, листьев-падалицы нагребла и легла спервоначалу вниз мордой, а посля на спину обернулась. Квохчет, счинается родить, я за кустом не ворохнусь сижу, на нее скрозь ветки поглядываю... И вот она кряхтит-кряхтит, потом зачинает покрикивать, слезы у ней по щекам, а сама вся зеленью подернулась, глаза выпучила, тужится, ажник судорога ее выгинает. Не казачье это дело, а гляжу и вижу — не разродится баба, помрет... Выскочил я из-за куста, подбег к ней, смекаю, что надо мне ей помочь оказать. Нагнулся, рукава засучил, и такая меня оторопь взяла, по́том весь взмок. Людей доводилось убивать — не робел, а тут поди вот! Вожусь около нее, она перестала выть и такую мне запаливает хреновину:

— Знаешь, Яша, кто банде сообчил, что у нас патронов нет?— и глядит на меня сурьезно так.

— Кто?— спрашиваю у ней.

— Я.

— Что ты, дурная, собачьей бесилы обтрескалась? Не тот час, чтоб гутарить, молчи лежи!..

Она опять свое:

Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь перед тобой я, Яша... Не знаешь ты, какую змею под рубахой грел...

— Ну, винись,— говорю,— ляд с тобой!

Тут она и выложила. Рассказывает, а сама головою оземь бьется.

— Я,— говорит,— в банде своей охотой была и тягалась с ихним главачом Игнатьевым... Год назад послали меня в вашу сотню, чтоб всякие сведения я им сообчала, а для видимости я и представилась снасилованной... Помираю, а то в дальнеющем я бы всю сотню перевела...

Сердце у меня тут прикипело в грудях, и не мог я стерпеть — вдарил ее сапогом и рот ей раскровянил. Но тут у ней схватки заново начались, и вижу я — промеж ног у нее образовалось дите... Мокрое лежит и верещит, как зайчонок на зубах у лисы... А Дарья уж и плачет и смеется, в ногах у меня полозит и все колени мои норовит обнять... Повернулся я и пошел от нее до сотни. Прихожу и говорю казакам — так и так...

Поднялась промеж них киповень. Спервоначалу хотели меня порубать, а посля говорят мне:

— Ты примолвил ее, Шибалок, ты должен ее и прикончить, со всем с новорожденным отродьем, а нет — тебя на капусту посекем...

Стал я на колени и говорю:

— Братцы! Убью я ее не из страху, а по совести, за тех братов-товарищев, какие головы поклали через ее изменшество, но поимейте вы сердце к дитю. В нем мы с ней половинные участники, мое это семя, и пущай живым оно остается. У вас жены и дети есть, а у меня, окромя его, никого не оказывается...

Просил сотню и землю целовал. Тут они поимели ко мне жалость и сказали:

— Ну, добре! Нехай твое семя растет и нехай из него выходит такой же лихой пулеметчик, как и ты, Шибалок. А бабу прикончь!

Кинулся я к Дарье. Она сидит, оправилась и дитя на руках держит. Я ей и говорю:

— Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коли родился он в горькую годину — пущай не знает материного молока, а тебя, Дарья, должен я убить за то, что ты есть контра нашей Советской власти. Становись к яру спиной!..

— Яша, а дите? Твоя плоть. Убьешь меня, и оно помрет без молока. Дозволь мне его выкормить, тогда убивай, я согласна...

— Нет,— говорю я ей,— сотня мне строгий наказ дала. Не могу я тебя в живых оставить, а за дитя не сумлевайся. Молоком кобыльим выкормлю, к смерти не допущу.

Отступил я два шага назад, винтовку снял, а она ноги мне обхватила и сапоги мне целует...

После этого иду обратно, не оглядываюсь, в руках дрожание, ноги подгибаются, и дите, склизкое, голое, из рук падает...

Дён через пять тем местом назад ехали. В лощине над лесом воронья туча... Хлебнул я горюшка с этим дитем.

— За ноги его да об колесо!.. Что ты с ним страдаешь, Шибалок?— говорили, бывало, казаки.

А мне жалко постреленка до крайности. Думаю: «Нехай растет, батьке вязы свернут — сын будет власть Советскую оборонять. Все память по Якову Шибалку будет, не бурьяном помру, потомство оставлю...» Попервам, веришь, добрая гражданка, слезьми плакал с ним, даром что извеку допрежь слез не видал. В сотне кобыла ожеребилась, жеребенка мы пристрелили, ну вот и пользовали его молоком. Не берет, бывало, соску, тоскует, потом свыкся, соску дудолил не хуже, чем материну титьку иное дите.

Рубаху ему из своих исподников сшил. Сейчас он маленечко из ней вырос, ну, да ничего, обойдется...

Вот теперича ты и войди в понятие: куда мне с ним деваться? Мал дюже, говоришь? Он смышленый и жевки потребляет... Возьми его от лиха! Берешь? Вот спасибо, гражданка!.. А я, как толечко разобьем фоминовскую банду, надбегу его проведать.

Прощай, сынок, семя Шибалково!.. Расти... Ах, сукин сын! Ты за что же отца за бороду трепаешь? Я ли тебя не пестал? Я ли с тобой не нянчился, а ты драку заводишь под конец? Ну, давай на расставанье в маковку тебя поцелую...

Не беспокойтеся, добрая гражданка, думаете — он кричать будет? Не-е-ет!.. Он у нас трошки из большевиков, кусаться — кусается, нечего греха таить, а слезу из него не вышибешь!..

1925

АЛЕШКИНО СЕРДЦЕ

ва лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росою, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрел до канавы, стоная, долго перелазил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай — скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склубились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка — младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

— Бери за ноги...

Взяли. Алешка — за ноги, мать — за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

— Лёш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!...

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

— А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

— Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:
— Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...
Ногн у Алешки — как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивал слова:
— Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...
На этот же день Полька, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала,— голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха — баба ядреная и злая. Увидела Польку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой — зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.
Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польку с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбчонки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровянистую стежку.
Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихиного двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кобель.
— Цыц!.. Серко... Серко...— Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.
В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась спустился по лестнице.
Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и — к погребу. Свесила вниз распатланную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.
— Ах ты, хвитинов в твою дыхало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..
Разом отяжелевший кувшин скользнул из захолодавших Алеш-

киных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день — праздник троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла, Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

— Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

— Долго势 пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь — девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку — и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит — белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

— А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

— Христа ради...

— Бог подаст!..— И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров — шаги и нечищеные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиною часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

— Это кто тут?

— Я...

— Кто ты?

— Алешка...

— Ну вылазь!...

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

— Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Синицын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, тряся головой.

— Жалко тебе, жадюга?!

— Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь!

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

— От тебя воняет, Алешка?

— Я исть хочу...— буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

— Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

— Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

— У тебя черви?

— В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноящуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

— Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких

червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репьи выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки — цап ее за хвост, а тут сзади голос:

— Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатей Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбчиво.

— Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня как полагается, настоященский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки буркнул:

— Пойду, Иван Алексеев.

— Ну, являйся с пожитками к вечеру!— И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться — только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья — одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату — за девять пригоршней муки, базы — за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки — зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка — к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядно, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

— Ишо дармоеда привел! Он слопает больше, чем наработает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен по теперешним временам!

— Молчи, баба! Есть две отвертки — знай посапливай!— Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел — въедливый на работу, с семи лет погонычем был, хвосты быкам накручивал.

Дня три пожил — освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

— Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

— Я, дяденька, не займаюсь.

— Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь — тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой растопырился и сон нейдет. На третий день — спозаранку — прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

— Ты где запропал, Алексей?

— В работники нанялся.

— К кому?

— К Ивану Алексееву, на краю живет.

— Ну, браток, надбеги вечерком. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

— Ты грамоте знаешь, Алексей?

— В приходском учился. Себя расписываю.

— Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано — раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея,— следом. В комнатушке портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

— Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь,— в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

— Здорово живешь, Иван Алексеев!

— Слава богу.

— Совесть-то всю растерял?

— Что такое?

— А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

— Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить, а в обчем, убирайся под раз-этакую мать!..— Повернулся к соседу спиною, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул — бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое донышко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленой по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатушке народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидал Алешку, подошел, улыбаясь.

— Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу — ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул к стряпке — из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке:

— Ты где бываешь ночьми, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

— Где бываешь, говорю?!

— В клубе...

— А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, словно просяная рушка, искры посыпались.

— Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтоб и духом твоим не воняло тут!— Запрягая в косилку коней, гремел хозяин:— Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

— Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты тебя навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца твово через его ухватку и устукали на шахтах... Кажной дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребятишки клюют, а посля и вовсе из битых не вылезешь...

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить — за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

— Хозяин!..— тихо так, вполголоса.

Прислушался Алешка: рыпнула дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

— Лошадей бы трошки подкормить...— доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидал, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

— Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподымая голову.

— Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремя сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услыхал Алешка сипло-придушенный:

— Пулеметы есть у них?

— Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики...

— Завтра в полночь приедем нá гости... в Казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

— Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редеющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к Казенному лесу.

* * *

Утром, за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно.

— Ты что не лопаешь?

— Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, прошел на гумно, перемахнул через плетень и — рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабанящее сердце.

— Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке ласково:

— Посиди тут...— и вышел.

С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:

— По злобе наговорено вам...

— А вот увидим!

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:

— Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

* * *

— Ну вот гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым — Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе...

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

— Ро-о-та... пли!..

Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое: «Рота, пли!»

В конце широкой улицы — ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка — над головой тягуче-нудное: тю-ю-уть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся

грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

— За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыхнула щеколда.

— Вот они! Двое забегли в хату!..— крикнул Алешка.

Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.

Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

— Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

— По окнам, пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

— Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возьмем их... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росою. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девчонку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

— Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся — очкастый привстал на колени, а сам белее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб, услы-

шал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.

* * *

Когда очнулся Алешка, увидал над собою зеленое — от бес сонных ночей — лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью застонал, засмеялся.

— Я живой... не помер...

— И не помрешь, Леня... Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

— Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На пол вершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А теперь мы тебя вы лечили, пускай твое сердце еще постучит — на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидал то, что никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.

1925

БАХЧЕВНИК

I

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать!

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице...— Помолчал и добавил:— В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А! Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, говорит, Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал — ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услыхал Митька от побледневшего брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зо́рю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая... А на что тебе?

— Надо, значит.— Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и

неожиданно зашептал: — Ключи от конюшни у отца под подушкой.. в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

— Куда?

— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равны были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму,— повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунулся под засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот:

— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни... Будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся...

— Так и говори...— Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька — опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом: коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем,— лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор поди у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Федор где?

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?..— загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?..— Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито,

долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Каза́чки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора. На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом — арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным.

У матери на глазах мокрая пленка.

— Отнеси, сынок, может — и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже небось ночами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали.

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным принес.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

— Погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да...

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Не-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не могешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маманька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни...

— Ми... ми... тя... тя... тя...

И смех глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился!

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые, полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам — казаки из конвойной команды, в средине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до

поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не бреши. Строго ответишь за это!

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь. Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон. Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради бога!..

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?

— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях.

Твердо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых,— не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька, бледнея:

— Федя... отец скачет!..

Рыжая отцовская борода пóтом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира пóтом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пущу!..

— Нету... не знаю...

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нем.

— Посмотрим.— Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами.

Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно

нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

* * *

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки увереннней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло румяную каемку протянул рассвет.

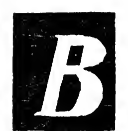
1925

ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА

Повесть

Часть первая

I



доль Дона до самого моря степью тянется Гетманский шлях. С левой стороны пологое песчаное Обдонье, зеленое чахлое марево заливных лугов, изредка белесые блестки безыменных озер; с правой — лобастые насупленные горы, а за ними, за дымчатой каемкой Гетманского шляха, за цепью низкорослых сторожевых курганов — речки, степные большие и малые казачьи хутора и станицы и седое вихрастое море ковыля.

* * *

Осень в этом году пришла спозаранку, степь оголила, брызнула жгучими заморозками.

Утром, перебирая в постовальне шерсть, сказал отец Петру:

— Ну, сынок, теперь работенки нам хоть убавляй! Морозы двинули, казачки шерсть перечесывают, а наше дело — струну поглаживай да рукава засучай повыше, а то спина взмокнет!..

Приподнимая голову, улыбнулся отец, сощурились выцветшие

серые глаза, на щеках, залохмативших серой щетиной, вылегли черные гнутые борозды.

Петр, сидя на столе, обделывал колодку; поглядел, как на усталом лице отца тухнет улыбка, промолчал.

В постовальне душно до тошноты, с кособокого потолка размеренно капает, мухи ползают по засиженному слюдяному оконцу. Сквозь него заиневший плетень, вербы, колодезный журавль кажутся бледно-радужными, покрытыми ржавой прозеленью. Взглянет мельком Петр во двор, переведет взгляд на голую согнутую спину отца, шевеля губами, высчитывает уступы на позвоночном столбе и долго глядит, как движутся лопатки и дряблая кожа морщинистыми комками собирается на отцовой спине.

Узловатые пальцы привычно быстро выбирают из шерсти репьи, колючки, солому, и в такт движениям руки качаются лохматая голова и тень ее на стене. Приторно и остро воняет пареной овечьей шерстью. Пот бисерным горошком сыплется у Петра по лицу, мокрые волосы свисают на глаза. Вытер ладонью лоб, колодку кинул на подоконник.

— Давай, батя, полудновать? Солнце, гля-кось, куда влезло, почти в обеды.

— Полудновать? Погоди... Скажи на милость, сколько этого репья!.. Битый час гнусь над шерстью.

Соскочил Петр со стола, в печь заглянул. Потные щеки жадно лизнула жарынь.

— Я, батя, достаю щи. Больно оголодал, жрать охота!..

— Ну, тяни, работа потерпит!

Сели за стол, не надевая рубах; не торопясь, хлебали щи, сдобренные постным маслом.

Петр покосился на отца, сказал, прожевывая:

— Худой ты стал, будто хворость тебя точит. Не ты хлеб ешь, а он тебя!..

Задвигал скулами, улыбаясь, отец:

— Чудак ты какой! Равняй себя с отцом: мне на покров пойдет пятьдесят семой, а тебе — семнадцать с маленьким. Старость точит, а не хворь!..— и вздохнул.— Мать-покойница поглядела бы на тебя...

Помолчали, прислушиваясь к басовитому жужжанию мух. На дворе остервенело забрехала собака. Мимо окна — топот ног. Распахнулась дверь, стукнувшись о чан с вымоченной шерстью, и в землянку вошел задом Сидор-коваль. Шапки не снимая, сплюнул под ноги.

— Ну и кобеля содержите! Норовит, проклятый, не куда-нибудь кусануть, а все повыше ног прицепляется.

— Он сознает, что ты за валенками идешь, а они не готовы, потому и препятствует.

— Я не за валенками пришел.

— А ежели не за ними, то присаживайся вот сюда, на бочонок, гостем будешь!

— В кои веки в гости заглянул, и то на мокрое сажаешь! Не будь, Петруха, таким вредным человеком, как твой батянька!..

Посмеиваясь в кустистую бороденку, присел Сидор около двери на корточки, долго сворачивал негнущимися пальцами цигарку и, закуривая, плямкая губами, пробурчал:

— Ничего не знаешь, дед Фома?

Отец, заворачивая шерсть в мешок, качнул головой, улыбнулся, но в глазах Сидора прощупал острые огоньки радости и насторожился.

— Что такое?

Сквозь пленку табачного дыма проглянуло лицо Сидора, губы по-заячьи ежились в улыбку, глаза суетились под белесыми бровями обрадованно и тревожно.

— Красные жмут, по той стороне к Дону подходят. У нас в станице поговаривают — отступать... Нынче на заре вожусь в своей кузнице, слышу — скачут по проулку конные. Выглянул, а они к кузнице моей бегут. «Кузнец тут?»— спрашивают. «Тут»,— говорю. «В два счета чтобы кобылицу подковал, ежели загубишь — плетью запорю!..» Выхожу я из кузницы, как полагается, черный от угля. Вижу — полковник, по погонам, и при нем адъютант. «Помилуйте, говорю, ваше высокородие. Дело я свое до тонкости знаю». Подковал я ихнюю кобылку на передок, молотком стучу, а сам прислушиваюсь. Вот тут-то и понял, что дело ихнее — табак!..

Сидор сплюнул, затоптал ногой цигарку.

— Ну, прощевайте! На свободе забегу покалякать.

Хлопнула дверь, пар заклубился над потными стенами постовальни. Старик долго молчал, потом, руки вытирая, подошел к Петру.

— Ну, Петруха, вот и дождались своих! Недолго казаки над нами будут панствовать!

— Боюсь я, батя, брешет Сидор... Какой раз он нам новости приносит, все вот да вот придут, а ихним и духом вблизи не пахнет...

— Дай время, так запахнет, что казаки и нюхать не будут успевать!

Крепко сжал старик жилистый кулак, румянец чахло зацвел на обтянутых кожей скулах.

— Мы, сынок, с малых лет работаем на богатых. Они жили в домах, построенных чужими руками, ели хлеб, политый чужим потом, а теперича пожалуйте на выкат!..

Едкий кашель брызнул из отцова горла. Молча махнул рукой, сгорбившись и прижимая ладони к груди, долго стоял в углу, возле чана, потом вытер фартуком губы, покрытые розоватой слюной, и улыбнулся.

— По двум путям-дороженькам не ходят, сынок! Выпала нам одна, по ней и иди, не виляя, до смерти. Коли родились мы постовалами-рабочими, то должны свою рабочую власть и поддерживать!..

Под пальцами старика струна запела, задрожала тягучими

перезвонами. Пыль паутинистой занавеской запутала окно. Солнце на минуту заглянуло в окошко и, торопясь, покатилось под уклон.

II

На другой день в постовальню пришел офицер и с ним сиделец из станичного правления. Молодой одутловатый хорунжий спросил, щелкая хлыстом по новеньким крагам:

— Ты — Кремнев Фома?

— Я.

— По приказанию станичного атамана и начальника интендантского управления я обязан забрать у тебя весь имеющийся запас готовых валенок. Где они у тебя?

— Ваше благородие, мы с сыном год работали. Ежели вы заберете их, мы подохнем с голоду!..

— Это не мое дело! Я должен конфисковать валенки. У нас казаки на фронте разуты. Я спрашиваю: где они хранятся у тебя?

— Господин хорунжий!.. Ведь не пóтом, кровью мы их поливали! Ведь это хлеб наш!..

У хорунжего на прыщавых щеках ползет слизняком ехидная улыбочка. Зубы золотые из-под усов поблескивают.

— Говорят, ты — большевик? В чем же дело? Придут красные, они тебе заплатят за валенки!..

Попыхивая папироской, звякая шпорами, шагнул в угол, ручкой хлыста сковырнул рядно.

— Ага, вот эти самые валенки мы и заберем! Шустров, бери и выноси на двор, подвода сейчас подъедет.

Отец и Петька плечо к плечу стали, собой заслонили сложенные в углу валенки.

Пунцовой яростью вспух хорунжий; роняя с трясущихся губ теплые брызги слюны, но сдерживаясь, прохрипел:

— Я с тобой завтра буду по-иному разговаривать, когда тебя, старую собаку, за шиворот притянут в военно-полевой суд!..

Оттолкнул старого постовала, ногами совал к порогу обглаженные, просушенные валенки. Сиделец брал их в охапку и выбрасывал в настежь открытую дверь.

За плетнем прогромыхала бричка, остановилась у ворот. Из угла пара за парой убывали валенки. Молчал старик, но когда сиделец мимоходом взял с печки и его приношенные седые валенки, шагнул к нему и неожиданно отвердевшей рукой прижал его к печке. Сиделец с рябым туповатым лицом рванулся — поношенная рубашка мягко расползлась у ворота — и, не размахиваясь, ударил старика в лицо.

Петька вскрикнул, кинулся к отцу, но на полдороге от сильного удара рукоятью нагана в висок упал, вытягивая руки.

Хорунжий вывернул кровью дурной налитые глаза, подскочил к старому постовалу, звонко хлестнул его по щеке.

— Руби его, Шустров!.. Я отвечаю!.. Да бей же, в закон твою мать!..

Сиделец, не выпуская из левой руки валенок, правой потянулся к шашке. Упал старик на колени, голову нагнул, на высохшей коричневой спине задвигались лопатки. Глянул сиделец на седую голову, уроненную до земли, на дряблую кожу старика, обтянувшую костистые ребра, и, пятясь задом, поглядывая на офицера, вышел.

Хорунжий бил старика хлыстом, хрипло, отрывисто ругался... Удары гулко падали на горбатую спину, вспухали багровые рубцы, лопалась кожа, тоненькими полосками сочилась кровь, и без стона все ниже, ниже к земляному полу падала окровавленная голова постовала...

* * *

Когда очнулся Петька, приподнялся качаясь, в постовальне никого не было. В распахнутую дверь холодный ветер щедро сыпал блеклые листья тополей, порошил пылью, а возле порога соседская сука торопливо долизывала густую лужицу запекшейся черной крови.

III

Через станицу лежит большой тракт.

На прогоне, возле часовни, узлом сходятся дороги с хуторов, тавричанских[1] участков, соседних выселков. Через станицу на Северный фронт идут казачьи полки, обозы, карательные отряды. На площади постоянно народ. Возле правления взмыленные лошади нарочных грызут порыжелый от дождей палисадник. В станичных конюшнях интендантские и артиллерийские склады 2-го Донского корпуса.

Часовые кормят разжиревших свиней испорченными консервами. На площади пахнет лавровым листом и лазаретом. Тут же тюрьма. Наспех сделанные ржавые решетки. Возле ворот — охрана, полевая кухня, опрокинутая вверх дном, и телефонная будка.

А по станице, по глухим сплюснутым переулкам вдоль хворостяных плетней ветреная осень метет ржавое золото листьев клена и кудлатит космы камыша под крышами сараев.

Прошел Петька до тюрьмы. У ворот — часовые.

— Эй ты, малый, не подходи близко!.. Стой, говорят тебе!.. Тебе кого надо?

— Отца повидать... Кремнев Фома по фамилии.

— Есть такой. Погоди, спрошу у начальника.

---

[1] Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных, соседних с Крымом (Таврией) мест.

Часовой идет в будку, из-под лавки выкатывает надрезанный арбуз, медленно режет его шашкой, ест, с хрустом чавкая и сплевывая под ноги Петьке бурые семечки.

Петька смотрит на скуластое, бронзовое от загара лицо, дожидается, пока часовой кончит есть. Тот, размахнувшись, бросает арбузную шляпку в ковыляющую мимо свинью, долго и серьезно смотрит ей вслед и, позевывая, берет телефонную трубку.

— Тут к Кремневу парнишка пришел на свидание. Дозволите пропустить, ваше благородие?

Петька слышит, как в телефонной трубке хрипит чей-то лающий бас, слов не разберет.

— Погоди тут, тебя обыщут!..

Минуту спустя в калитку выходят двое казаков.

— Кто к Кремневу? Ты? Поднимай руки вверх!..

Шарят в Петькиных карманах, щупают рваный картуз, подкладку пиджака.

— Скидай штаны! Ну, сволочь, засовестился... Что ты, красная девка, что ли?..

Калитка хлопает за Петькиной спиной, гремит засов, мимо решетчатых окон идут в комендантскую, и из каждой щели на Петьку смотрят разноцветные глаза.

В длинном коридоре воняет человеческими испражнениями, плесенью. Каменные стены цветут влажным зеленым мхом и гнилыми грибами. Тускло светят жирники. У крайней двери часовой остановился, выдернул засов, пинком ноги распахнул дверь.

— Проходи!

Нащупывая ногами дырявый пол, протягивая вперед руки, идет Петька к стене. Сверху сквозь малюсенькое окошечко, выдолбленное под самым потолком, просачивается голубой свет осеннего дня.

— Петяшка?.. Ты?!

Голос отца стучит перебоями, как у долго болевшего. Рванулся Петька вперед, на полу нащупал босой ногой войлок, присел и молча охватил руками перевязанную отцову голову.

Часовой стоит, прислонясь к растворенной двери, играет ремнем шашки, поет разухабистое «страдание».

Под сводчатым потолком испуганно шарахается эхо. Петькин отец, захлебываясь, сыплет бодрящим смешком, а в круглоглазое окошко с пола видно Петьке, как на воле клубятся бурые тучи и под ними режут небо две станички медноголосых журавлей.

— Два раза вызывали на допрос... Следователь бил ногами, заставлял подписать показания, какие я сроду не давал. Не-ет, Петяха, из Кремнева Фомы дуриком слова не вышибешь!.. Пущай убивают, им за это денежки платят, а с того путя-дороженьки, какой мне на роду нарисован, не сойду.

Петька слышит знакомый сипловатый смешок и с щекочущей радостью вглядывается в опухшее от побоев землисто-черное лицо.

— Ну, а теперя как же? Долго будешь сидеть, батяня?

— Сидеть не буду! Выпустят ноне или завтра... Они меня, сукины коты, за милую душу расстреляли бы, но боятся, что мужики иногородние забастовку сделают... А им это, ох, как не по нутру!

— Навовсе выпустят?

— Нет. Для пущей видимости назначают суд из стариков нашей станицы. Судить будут сходом... А там поглядим, чья сторона осилит!.. Бабушка Арина надвое сказала!..

Часовой у двери щелкнул пальцами и, притопывая ногой, крикнул:

— Эй, ты, веселый человек, прогоняй сына! Свидание ваше на нынче прикончилось!..

IV

Перед вечером в постовальню к Петьке прибежал соседский парнишка.

— Петро!

— Ну?

— Беги скореича на сход!.. Отца твово убивают на площади, возле правления!..

Не надевая шапки, опрометью кинулся Петька на площадь.

Бежал что есть мочи по кривенькому, притаившемуся у речки переулку. Впереди вдоль красноталого плетня маячила розовая рубашка соседского парнишки; ветром запрокидывало у него через голову желтые, выгоревшие под летним солнцепеком пряди волос, около каждого двора верещал пискливый рвущийся голосишко:

— Бегите на площадь!.. Фому-постовала убивают казаки!..

Из ворот и калиток выбегали кучки ребятишек, дробно топотали по переулку босыми ногами.

Когда подбежал к правлению Петька, на площади никого не было, переулки и улицы всасывали уходящих людей.

Возле ворот поповского дома толстая попадья, приложив к глазам руку лодочкой, смотрит на бегущего Петьку. У попадьи на ситцевое платье накинута шаль, в тонких ехидных губах застряла недоумевающая улыбочка. Постояла, глядя вслед Петьке, почесала ногою толстую, студнем дрожащую икру и повернулась к дому.

— Феклуша, где же постовала бьют?

— И вот тебе крест! Своими глазыньками видала, матушка, как его били!..— По порожкам крыльца зашлепали шаги. К попадье, ковыляя, подбежала кривая кухарка, махая руками, захлебнулась визгливым голосом:— Гляжу я, матушка, а его ведут из тюрьмы на сходку. Казаки шум приподняли, ему хоть бы что! Идет, старый кобель, и ухмыляется, а сам собой весь черный до ужасти!.. Его еще допрежде господа офицеры били... Подвели его к крыльцу и как начнут бить, только слышу — хрясь!.. хрясь!..— а он как заревет истошным голосом, ну, тут его и прикончили... кто колом, кто железякой, а то все больше ногами.

С крыльца правления, вихляя задом, сошел станичный писарь.

— Иван Арсеньевич, подите на минуточку!

Писарь одернул широчайшие галифе и мелким шагом, любуясь начищенными носками сапог, направился к попадье. Не дойдя шагов восемь, перегнул назад сутулую спину и, стараясь подражать интендантскому полковнику, небрежно приложил два пальца к козырьку фуражки.

— Добрый день, Анна Сергеевна!

— Здравствуйте, Иван Арсеньевич! Что это у вас за убийство было?

Писарь презрительно оттопырил нижнюю губу.

— Постовала Фому убили казаки за принадлежность к большевизму.

Попадья передернула пухлыми плечами и простонала:

— Ах, какие ужасы!.. Неужели и вы принимали участие в этом убийстве?

— Да... как сказать... Знаете ли, когда начали его, мерзавца, бить, а он, лежа на земле, кричит: «Убейте, от Советской власти не отступлюсь!» — тут, конечно, я его ударил сапогом — и сожалею, что связался. Одна неприличность только... сапог и брюки в кровь измарал...

— Я и не воображала, что вы такой жестокий человек!

Попадья, прищурив глазки, улыбалась франтоватому писарю, а у крыльца правления Петька присел на мокрый от крови песок и, окруженный цветной ватагой ребятишек, долго смотрел на бесформенно-круглый кровянистый ком...

V

Летят над станицей журавли, сыплют на захолодавшую землю призывные крики. Из окошка постовальни смотрит, часами не отрываясь, Петька.

Пришел в постовальню Сидор-коваль, поглядел, как промеж двух кирпичей растирает Петька зерна кукурузы, вздохнул:

— Эх, сердяга, страданьев сколько ты принимаешь!.. Ну, ничего, не падай духом, скоро придут наши, легче будет жить! А завтра беги ко мне, я те муки меры две всыплю.

Посидел, нацедил сквозь прокуренные зубы сизую лужу махорочного дыма, наплевал возле печки и ушел, вздыхая и не прощаясь.

А легче пожить ему не довелось. На другой день перед закатом солнца шел через площадь Петька; из ворот тюрьмы выехали два казака верхами, между ними в длинной, ниже колен, холщовой рубахе шел Сидор. Ворот расшматован до пояса, в прореху видна обросшая курчавыми и жесткими волосами грудь.

Поравнялся с Петькой и, сбиваясь с ноги, голову к нему обернул:

— На распыл меня ведут, Петенька, голубчик, прощай!

Рукой махнул и заплакал...

Как в тяжелом, удушливом сне таяло время. Завшивел Петька, желтые щеки обметало волокнистым пушком, выглядел старше своих семнадцати лет.

Плыли-плыли, уплывали спеленатые черной тоскою дни. С каждым днем, уходившим за околицу вместе с потускневшим солнцем, ближе к станице продвигались красные; пухла, водянкой разливалась тревога в сердцах казаков.

Утром, когда выгоняли бабы коров на прогон, слышно было, как бухали орудия за Щегольским участком. Глухой гул метался над дворами, задремавшими в зеленой утренней мгле, тыкался в саманные стены постовальни, ознобом тряс слюдяные оконца. Слезал Петька с печки, накидывая зипун, выходил во двор, ложился около сморщенной старушонки вербы на землю, скованную незастаревшим, тоненьким ледком, и слушал, как от орудийных залпов охала, стонала, кряхтела по-дедовски земля, а за кучей сгрудившихся тополей, смешиваясь с грачиным криком, захлебываясь, стрекотали пулеметы.

Вот и нынче вышел Петька во двор раньше раннего, прижался ухом к мерзнущей земле, обжигаясь липким холодком, слушал. Сонно бухали орудия, а пулеметы бодро, по-молодому выбивали в морозном воздухе глухую чечетку:

Та-та-та-та-та...

Сначала пореже, потом чаще, минутный перебой — и снова еле слышное:

Та-та-та-та-та...

Чтобы не мерзли колени, подложил Петька под ноги полу зипуна, прилег поудобнее, а из-за плетня простуженный голосок:

— Музыку слушаешь, паренек? Музыка занятная...

Дрогнул Петька, вскочил на корточки, а через плетень сверлят его из-под клочковатых бровей стариковские глаза, в бороде пожелтелой хоронится ухмылочка.

Угадал Петька по голосу деда Александра, Четвертого по прозвищу. Сказал сердито, стараясь переломить в голосе дрожь:

— Иди, дед, своей дорогой! Твое дело тут вовсе не касается!.

— Мое-то не касается, а твое, видно, касается?

— Не цепляйся, дед, а то пужану в тебя вот этим каменюкой, после жалиться будешь!

— Больно прыток! Прыток больно, говорю! Я тебя, свистуна, костылем могу погладить за такое к старику почтение!..

— Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь!..

— Сопля ты зеленая, по-настоященски ежели разбираться, а тоже щетинишься!

Взялся дед за колья плетня и легко перекинул через огорожу сухое, жилистое тело. Подошел к Петьке, оправляя изорванные полосатые порты, присел рядышком.

— Пулеметы слыхать?

Кому слыхать, а кому и нет...

— А мы вот послухаем!..

Петька, скосившись, долго глядел на растянувшегося плашмя деда, потом нерешительно сказал:

— За вербой ежели прилечь, дюжей слышно.

— Послухаем и за вербой!

Переполз дед на четвереньках за вербу, обнял оголенные коричневые корни руками, на корни похожими, и минуты на две застыл в молчании.

— Занятно!..— Привстал, отряхая с колен мохнатый иней, и повернулся к Петьке лицом.— Ты, малец, вот что: я наскрозь земли могу все видать, а тебя с полету вижу, чем ты и дышишь. Слухать этую музыку мы могем до бесконечности, но мы с сыном не то надумали... Знаешь ты мово Яшку? Какого за большевизму пороли нашенские казаки?

— Знаю.

— Ну, так мы с ним порешили навстречу красным идтить, а не ждать, покель они к нам припожалуют!..

Нагнулся дед к Петьке, бородой щекочет ухо, дышит кислым шепотком:

— Жалко мне тебя, паренек. Вот как жалко!.. Давай уйдем с нами отсель, расплюемся с Всевеликим войском Донским! Согласен?

— А не брешешь ты, дед?

— Молод ты мне брехню задавать! По-настоященски выпороть тебя за такие подобные!.. Одна сучка брешет, а я вправду говорю. Мне с тобой торговаться вовсе без надобности, оставайся тут, коли охота!..— И пошел к плетню, мелькая полосатыми портами.

Петька догнал, уцепился за рукав.

— Погоди, дедушка!..

— Неча годить. Желаешь с нами идтить — в добрый час, а нет, так баба с возу — кобыле легче!..

— Пойду я, дедушка. А когда?

— Про то речь после держать будем. Ты заходи нынче к нам ввечеру, мы на гумне с Яшкой будем.

VI

Александр Четвертый испокон века старичишка забурунный, во хмелю дурной, а в трезвом виде человек первого сорта. Фамилии его никто не помнит. Давненько, когда пришел со службы из Иваново-Вознесенска, где постоем стояла казачья сотня, под пьянку заявил на станичном сходе старикам:

— У вас царь Александр Третий, ну, а я хоть и не царь, а все-таки Александр Четвертый, и плевать мне на вашего царя!..

По постановлению схода лишили его казачьего звания и земельного пая, всыпали на станичном майдане пятьдесят розог за неуважение к высочайшему имени, а дело постановили замять. Но Александр Четвертый, натягивая штаны, низко поклонился станични-

кам на все четыре стороны и, застегивая последнюю пуговицу, сказал:

— Премного благодарствую, господа старики, а только я этим ничуть не напужанный!..

Станичный атаман атаманской насекой стукнул:

— Коли не напужанный — еще подбавить!..

После подбавления Александр не разговаривал. На руках его отнесли домой, но прозвище Четвертый осталось за ним до самой смерти.

Пришел Петька к Александру Четвертому перед вечером. В хате пусто. В сенцах муругая коза гложет капустные кочерыжки. По двору прошел к гуменным воротцам — открыты настежь. Из клуни простуженный голосок деда:

— Сюда иди, паренек!

Подошел Петька, поздоровался, а дед и не смотрит. Из камня мастерит молотилку, рубцы выбивает, стоя на коленях. Брызжут из-под молота ошкребки серого камня и зеленоватые искры огня. Возле веялки сын деда, Яков, головы не поднимая, хлопочет, постукивает, прибивая к бортам оборванную жесть.

«К чему хозяйствуют-то, в зиму глядя?» — подумал Петька, а дед стукнул последний раз молотком, сказал, не глядя на Петьку:

— Хотим оставить старухе все хозяйство в справности. Она у меня бедовая, чуть что — крику не оберешься! Может, кинул бы свою справу как есть, но опасаюсь, что нареканиев много будет. Ушли такие-сякие, скажет, а дома хоть и травушка не расти!..

Смеются у деда глаза. Встал, похлопал Петьку по шее, сказал Якову:

— Кончай базар, Яша! Давай вот с постоваловым сынком потолкуем насчет иного-прочего.

Выплюнул Яков изо рта на ладонь мелкие гвоздочки, которыми жесть на веялке прибивал, подошел к Петьке, губы в улыбку растягивая:

— Здорово, красненький!

— Здравствуй, Яков Александрович!

— Ну, как, надумал с нами уходить?

— Я вчера деду Александру сказал, что пойду.

— Этого мало... Можно с дурной головой собраться в ночь, и прощай, станица! А надо памятку по себе какую-нибудь оставить. Оченно мы много добра от хуторных видели! Батю секли, меня за то, что на фронт не согласился идтить, вовсе до смерти избили, твово родителя... Эх, да что и гутарить!

Нагнулся Яков к Петьке совсем близко, забурчал, ворочая нависшими круглыми бровями:

— Про то знаешь ты, парнище, что они, кадеты то есть, артиллерийский склад устроили в станичных конюшнях? Видал, как туда тянули снаряды и прочее?

— Видал.

— А к примеру, ежели их поджечь, что оно получится?

Дед Александр толкнул Петьку локтем в бок, улыбнулся:

— Жу-уть!..

— Вот папаша мой рассуждает: жуть, говорит, и прочее, а я поиному могу располагать. Красненькие под Щегольским участком находются?

— Крутенький хутор вчерась заняли,— сказал Петька.

— Ну вот, а ежели, к тому говорится, сделать тут взрыв и лишить казачков харчевого припасу, а также и военного, то они будут отступать без огляду до самого Донца! Во!..

Дед Александр разгладил бороду и сказал:

— Завтра, как толечко начнет смеркаться, приходи к нам на это самое место... Тут нас подождешь. Прихвати с собой, что требуется в дорогу, а за харч не беспокойся, мы свово приготовим.

Пошел Петька к гуменным воротцам, но дед вернул его:

— Не иди через двор, на улице люди шалаются. Валяй через плетень, степью... Опаска, она завсегда нужна!

Перелез Петька через плетень, канаву, задернутую пятнистым ледком, перемахнул и мимо станичных гумен, мимо седых от инея, нахмуренных скирдов зашагал к дому.

VII

Ночью с востока подул ветер, повалил густой мокрый снег. Темнота прижухла в каждом дворе, в каждом переулке. Кутаясь в отцовский зипун, вышел Петька на улицу, постоял возле калитки, прислушался, как над речкой гудят вербы, сгибаясь под тяжестью навалившегося ветра, и медленно зашагал по улице ко двору Александра Четвертого.

От амбара, из темноты, голос:

— Это ты, Петро?

— Я.

— Иди сюда, левей держи, а то тут бороны стоят.

Подошел Петька, у амбара дед Александр с Яковом возятся. Собрались. Дед перекрестился, вздохнул и зашагал к воротам. Дошли до церкви. Яков, сипло покашливая, прошептал:

— Петруха, ты, голубь мой ясный, неприметнее и ловчее нас... тебя не заметют... Ползи ты через площадь к складам. Видал, где ящики из-под патронов вблизи стены сложенные?

— Видал.

— Нá тебе трут и кресало, а это конопли, в керосине смоченные... Подползешь, зипуном укройся и высекай огонь. Как конопли загорятся, клади промеж ящиков и гайда... к нам. Ну, трогай. Да не робей!.. Мы тебя тут ждать будем.

Дед и Яков присели около ограды, а Петька, припадая животом к земле, обросшей лохматым пушистым инеем, пополз к складам.

Петькин зипунишко прощупывает ветер, холодок горячими струйками ползет по спине, колет ноги. Руки стынут от земли, ско-

ванной морозом. Ощупью добрался до склада. Шагах в пятнадцати красным угольком маячит цигарка часового. Под тесовой крышей сарая воет ветер, хлопает оторванная доска. Оттуда, где рдеет уголек цигарки, ветер доносит глухие голоса.

Присел Петька на корточки, закутался с головой в зипун. В руке дрожит кресало, из пальцев иззябщих выскакивает трут.

Черк!.. черк!.. Еле слышно черкает сталь кресала о края кремня, а Петьке кажется, что стук слышен по всей площади, и ужас липкой гадюкой перевивает горло. В намокших пальцах отсырел трут, не горит... Еще и еще удар, задымилась багряная искорка, и светло и нагло пыхнул пук конопли. Дрожащей рукой сунул под ящики, мгновенно уловил запах паленого дерева и, приподнимаясь на ноги, услышал топот ног, глухие, стрянущие в темноте голоса:

— Ей-богу, огонь! А-а-а, гляди!!!

Опомнившись, рванулся Петька в настороженную темь, вслед ему грохнули выстрелы, две пули протянули над головой полоски тягучего свиста, третья брунжанием заборোздила темноту где-то далеко вправо. Почти добежал до ограды. Позади надсадно кричали:

— По-жа-ар!. по-жа-ар!..

Стукали выстрелы.

«Только бы до угла добежать!»— трепыхается мысль в голове у Петьки.

Напряг все силы, бежит. Колючий звон режет уши. «Только бы до ограды!..»

Горячей болью захлестнуло ногу, ковыляя, пробежал несколько шагов, ниже колена по ноге ползет теплая мокреть... Упал Петька, через секунду вскочил, попрыгал на четвереньках, путаясь в полах зипуна.

Долго сидели дед с Яковом. Ветер турсучил в ограде привязанную к большому колоколу веревку и, раскачивая языки у маленьких колоколов, разноголосо и тихо вызванивал.

В темноте, возле складов, застывших посреди площади сутулыми буграми, сначала глухие, изорванные ветром голоса, потом рыжим язычком лизнул темноту огонь, хлопнул выстрел, другой, третий... У ограды топот, прерывистое дыхание, голос придушенный:

— Дедушка, помоги!.. Нога у меня.

Дед с Яковом подхватили Петьку под руки, с разбегу окунулись в темный переулок, бежали, спотыкались о кочки, падали. Миновали два квартала, когда с колокольни сорвался набат, звонко хлестнул тишину и расплескался над спящей станицей.

Рядом с Петькой дед Александр хрипит и суетливо вскидывает ногами. Петькины щеки щекочет его разметавшаяся борода.

— Батя, в сады!.. В сады держите!..

Перескочили канаву и остановились, переводя дух.

Над станицей, над площадью — словно треснула пополам земля. Прыгнул выше колокольни пунцовый столбище огня, густо заклубился дым... Еще и еще взрыв...

Тишина, а потом разом по всей станице взвыли собаки, снова

грохнул онемевший было набат, истошный бабий крик повис над дворами, а на площади желтое волнистое полымя догола вылизывает рухнувшие стены складов и, длиннорукое, тянется к поповским постройкам.

Яков присел за нагим кустом терна, сказал потихоньку:

— Убегать теперь совсем невозможно. По станице хоть иголки собирай, ишь как полыхает!.. Да и ногу Петяшкину надо бы поглядеть...

— Надо подождать зари, пока не угомонится народ, а потом будем продвигаться до казенных лесов.

— Довольно пожилой вы человек, батя, а располагаете промеж себя, как дите! Ну, мыслимо ли это дело — ждать в станице, когда кругом нас теперя ищут? Опять, ежели домой объявиться, то нас сразу сбатуют. Мы в станице первые на подозрении.

— Оно так... Ты верно, Яша, говоришь.

— Может, в нашем дворе, в катухе переднюем?— морщась от боли, спросил Петька.

— Ну, это подходящее. Там рухлядь есть какая?

— Кизеки сложены.

— Потихоньку давайте трогаться!.. Батя, и куда вы лезете передом? Шли бы себе очень спокойно позаду!

VIII

К утру в прикладке кизяков Яков с Петькой вырыли глубокую яму; чтобы теплее было, застелили ее снизу и с боков сухим бурьяном, спустились туда, а верх заложили сухой повителью, арбузными плетями, свезенными с бахчей для топки.

Яков порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал Петьке простреленную ногу. Сидели втроем до самого вечера. Утром во двор приходили люди. Слышен был глухой разговор, лязг замка, потом голос совсем неподалеку сказал:

— Постовалов парнишка, должно, на хуторе работает. Брось, браток, замок выворачивать! На кой он тебе ляд? У постовала в хате одни воши да шерсть, там дюже не разживешься!..

Шаги заглохли где-то за сараем.

Ночью ахнул мороз. С вечера слышно было, как лопалась на проулке земля, с осени щедро набухшая влагой. По небу, запорошенному хлопьями туч, засуетился в ночном походе кособокий месяц. Из темно-синих круговин зазывно подмаргивали звезды. Сквозь дырявую крышу ночь глядела в катух.

В яме под кизяками тепло. Дед Александр, уткнув подбородок в колени, спит, всхрапывая и шевеля ногами. Петька и Яков разговаривают вполголоса.

— Батя, проснись! Когда вы разгуляете сон? В путь пора!

— Ась? В путь пора? Можно...

Долго и осторожно разбирали кизяки. Слегка приоткрыли дверь,— на дворе, по проулку ни души.

Миновали крайний двор в станице, через леваду вышли в степь. До яра саженей сто ползли по снегу. Позади станица с желтыми веснушками освещенных окон пристально смотрит в степь. По яру до Казенного леса шли тихо, осторожно, словно на зверя. Звенел под ногами ледок, снег поскрипывал. Голое каменистое днище яра кое-где запруживалось сугробом, по нему — голубые петли заячьих следов.

Яр одной отножиной упирается в опушку Казенного леса. Выбрались на пригорок, поглядели вокруг и не спеша потянулись к лесу.

— До Щегольского нам опасно идтить не узнамши. Скоро фронт откроется — могем попасть к белым.

Яков, вбирая голову в растопыренные полы полушубка, долго высекал кресалом огонь. Сыпались огненные капли, сухо черкала сталь о кремень. Трут, натертый подсолнечной золой, зарделся и вонюче задымил. Яков два раза затянулся, ответил отцу:

— Я так полагаю: давайте зайдем к лесничему Даниле, как он есть наш прекрасного знакомства человек. У него узнаем, как нам пройтись через позиции, да кстати и Петяшку малость обогреем, а то он у нас замерзнет вчистую!

— Мне, Яков Александрович, не дюже зябко.

— Молчи уж, не бреши, парнишка! Зипун-то твой не от холода построенный, а от солнышка.

— Трогай, Яша, трогай, сынок!.. Смотри, куда Стожары поднялись, скоро полночь,— сказал дед.

Саженей полсотни не доходя до лесной сторожки, остановились... У лесника Данилы в окошке огонь, видно, как из трубы лениво ползет дымок. Месяц повис над лесом, неловко скособочившись.

— Должно, никого нет. Пойдемте.

Под сараем забрехала собака. Обмерзшие порожки крыльца скрипят под ногами. Постучались.

— Хозяин дома?

Из сторожки к окну прилипла чья-то борода.

— Дома. А кого бог принес?

— Свои, Данила Лукич, пущай за-ради Христа обогреться!

В сенцах пискнула дверь, засов громыхнул. На пороге стал лесничий, из-под правой руки глядит на гостей, а в левой винтовку за спину хоронит.

— Никак, ты, дед Александр?

— Он самый... Пущай переночевать-то?

— Кто его знает... Ну, да проходите, небось уместимся!

В комнатушке жарко натоплено. Возле печи на разостланной полсти лежат трое,— в головах седла, в углу винтовки. Яков попятился к двери.

— Кто это у тебя, хозяин?

С полсти голос:

— Аль не узнал станишников? А мы вас с вчерашнего дня поджидаем. Думаем, все одно им Казенного леса и Даниловой сторожки не миновать... Ну, раздевайтесь, дорогие гостечки, переночуем, а завтра без пересадки направим вас на царевы качели!.. Давно по вас веревонька плачет!..

Привстали казаки с полсти, за винтовки взялись.

— Вяжи поджигателям руки, Семен!..

IX

Двое спят на постели, третий сидит за столом, свесив голову; промеж ног у него винтовка. Лесник Данила кинул на пол дерюгу.

— Постели, дед Александр, все костям вольготнее будет!

— Смотри, жалостливый человек, как бы самому на ней спать не пришлось!.. Слышь, лесник? Возьми дерюгу!.. Они склады спалили, за такие дела и на морозе рядом с хозяйской сукой поспать не грех!..

Перед зарей запросился дед на двор:

— Пусти, сынок, сходить требуется по надобности...

— Ничего, дед, мочись в штаны либо в валенок!.. Завтра подвесим тебя на перекладину, там просохнешь!

В окна царапался немощный зимний рассвет. Встали казаки, умылись, сели завтракать. Яков неприметно шепнул отцу и Петьке:

— Бечевку я перетер ночью... Как дойдем до станицы — все врозь,— в леваду, а оттель в гору... в норы, откуда мы камень рыли... Тамотка сроду не возьмут нас!..

Шли связанные конопляной веревкой все трое за руки. Петька припадал на раненую ногу, скрипел зубами от ноющей боли.

Вот и станица, разметавшая по краям седые космы левад, словно баба в горячке. Когда свернули в первый проулок, Яков с перекошенным, побелевшим ртом рванул веревку и, виляя по снегу, кинулся в левады. Дед Александр и Петька следом. Все врозь. Сзади крик:

— Стой, стой, в заразу мать!..

Выстрелы и топот конских ног. Петька, перепрыгивая канаву, оглянулся: дед Александр упал, зарываясь простреленной головой в сугроб, и высоко взбрыкнул ногами.

Гора с верхушкой, опоясанной снегом, бежит навстречу. Глазными впадинами чернеют ямы, откуда казаки добывали камень. Яков нырнул первым, за ним Петька.

Извиваясь, обрывая одежду, царапая до крови тело об острые уступы, ползли в сырой, придавленной темноте. Иногда Петьку больно били по голове сапоги Якова. Нора раздвоилась, поползли налево. Петькины ладони в мерзлой глине, сверху за шиворот сочится вода.

Яма под ногами. Спустились и сели рядом.

— Горе мне!.. Батю, должно, убили,— прошептал Яков.

— Упал он возле канавы...

Глохнут, будто чужие, голоса. Темь липнет на веки.

— Ну, Петька, теперь они нас измором будут брать. Пропадем мы, как хорь в норе, а впрочем, кто его знает!.. Лезть к нам они побоятся. Эти норы мы с батей рыли еще до германской войны. Я все ходы знаю... Давай полозть дальше.

Ползли. Иногда упирались в тупик. Сворачивали назад, другую тропку искали...

* * *

В густой, вязкой тьме жались двое суток.

Тишина звенела в ушах. Почти не разговаривали. Спали, чутко прислушиваясь. Где-то вверху буравила землю вода. Просыпались, опять спали...

Потом, тыкаясь в стены, как слепые щенки, полезли к выходу. Долго блуждали, и внезапно больно и ярко стегнул по глазам свет.

У входа в каменную пещеру ворох серой золы, окурки, патронные гильзы, следы многих и многих человеческих ног, а когда выглянули — увидели: по дороге к станице на лошадях с куце подрезанными хвостами змеилась конница, серым клубом позади валила пехота, ветер полоскал малиновое знамя и далеко нес голоса, хохот, команду, скрип полозьев.

Выскочили. Бежали, падали. Яков махал руками и кричал высоким надорванным голосом:

— Братцы! Красненькие! Товарищи!..

Конница сгрудилась на дороге гнедой кучей лошадей.

Сзади напирала захлюстанная пехота.

Яков тряс головой, всхлипывая, кидался целовать стремена и кованые сапоги красноармейцев, а Петьку подхватили на руки, жмякнули в сани, в ворох духовитого степного сена, накрыли шинелями.

Покачиваются сани. Шинели пахнут родным кислым потом, как отцова рубаха когда-то пахла...

Кружится голова у Петьки, тошнотой наливается грудь, а в сердце, как жито майское после дождя, цветет радость. Чья-то рука приподняла шинель, нагнулось к Петьке безусое обветренное лицо, улыбка ползет по губам.

— Живой, дружище? А сухари потребляешь?

Суют Петьке в непослушный рот жеваные сухари, колючими варежками трут обмерзшие Петькины пальцы. Хочет он что-то сказать, но во рту ржаное месиво, а в горле комом стрянут слезы.

Поймал жесткую черную руку и к груди прижал крепко-накрепко.

Часть вторая

I

Дом большой, крытый жестью, на улицу — шесть веселых окон с голубыми ставнями. Раньше станичный атаман жил, а теперь клуб ячейки РКСМ помещается. Год тысяча девятьсот двадцатый, нахмуренный, промозглый сентябрь, ночная темень в садах и в проулках.

В клубе собрание, чад, гул голосов. За столом секретарь ячейки Петька Кремнев, рядом член бюро Григорий Расков. Решается важный вопрос: показательная обработка земли, отведенной земотделом для ячейки.

Через полчаса — кусок протокола:

«СЛУШАЛИ: доклад т. Раскова об отмере земли на участке Крутеньком.

ПОСТАНОВИЛИ: выделить для немедленного осмотра и отмера земли тт. Раскова и Кремнева».

Потушили лампу. Дробно застучали ногами по крыльцу. Петька постоял около угла и, глядя, как в млечной темноте покачивается белая рубаха Раскова, крикнул в гулкую тишину задремавшей станицы:

— Гришка, слышь? Люди-то пашут, про обывательскую подводу и думать забудь! Пешком пойдем!

II

Чахоточная зорька. По утрамбованной дороге недавно прошел табун. Пыль повисла на верхушках степной полыни. На бугре пахота. На ней копошатся люди, ползают запряженные в плуги быки. Ветер крутит крики погонычей, свист и щелканье кнутов.

Ребята шагали молча. Солнце в полдень — подошли к участку. Десяток тавричанских дворов застрял в степной балке. Около плотины баба, подоткнув подол, шлепает вальком. С той стороны в воду по пузо залезли цветные коровы. Приподняв уши, с дурацким видом долго смотрели на ребят. Передняя, чего-то испугавшись, дико задрала хвост и шарахнулась на плотину, за ней рванулось все стадо. Пронзительно защелкал арапником седобородый пастух; подпасок, мелькая черными пятками, побежал заворачивать. На гумне под отрывистый стук паровой молотилки певучий девичий голос прокричал:

— Гарпишка, ходим подывымось — якись-то красни до нас прийшлы!..

До вечера искали ребята участкового председателя, ели на квартире душистые дыни, а землю порешили смотреть завтра. Хозяйка постелила им в сенцах. Григорий уснул сразу, а Петька долго ворочался, ловил под овчинной шубой блох, думал: какую землю отведет шельмоватый председатель?

В полночь хозяин стукнул щеколдой, глянул с крыльца на звездное небо и направился в конюшню замесить лошадям. Заскрипел колодезный журавль, в степи призывно-протяжно заржал жеребенок. Со двора глухо доносились голоса. Петька проснулся.

Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок, произнес печально и внятно:

— Смерть — это, братец, не фунт изюму!..

В сенцы, стуча сапогами, вошел председатель.

— Хлопцы, а хлопцы, чуете?

— Ну?

— Чума його знае... Зараз приихав с Вежинского хутора наш участковец, так каже, що той хутор Махно забрав. Це треба вам, хлопцы, тикаты!..

Петька буркнул спросонок:

— Ну, а земля как же? Отмерь завтра участок, тогда уж пойдем, а то что ж задарма ноги бить?

Снится зарею Петьке, что он в райкоме на собрании, а по крыше кто-то тяжело ступает, и жесть, вгибаясь, ухает: гу-у-ух!.. ба-а-ах!..

Проснулся — смекнул: орудийный бой. Тревожно сжалось сердце. Наспех собрались, прихватили деревянную сажень и, отмахиваясь от взбеленившихся собак, вышли за участок.

— Сколько до Вежинского верст? — спросил Григорий.

Вышагивал он молча, задумчиво обрывал лепестки на пунцовой головке придорожного татарника.

— Верстов, мабуть, тридцять.

— Успе-е-ем!

Минуя бахчи, поднялись на пригорок. Петька уронил подсумок с патронами, обернулся поднять — и ахнул: с той стороны участка стройными колоннами спускались всадники. У переднего, ветром подхваченное, как подшибленное крыло птицы, трепыхалось черное знамя.

— Ах, мать твою!..

— Бог любил! — подсказал Григорий, а у самого прыгнули губы и серым налетом покрылось лицо.

Председатель уронил сажень, сам не зная для чего полез в карман за кисетом. Петька стремительно скатился в балку, Григорий за ним.

Странно путаются непослушные ноги, бег черепаший, а сердце колется на части, и зноем наливается рот. На дне водой промытой балки сыро. Пахнет илом, вязнут ноги. Петька на бегу смахнул сапоги и половчее перехватил винтовку; у Григория зеленью покрылось лицо, губы свело, дыханье рвется с хрипом. Упал и далеко отшвырнул винтовку.

— Бросай, Петя, поймают — убьют!..

Петьку передернуло.

— Ты с ума сошел?! Возьми скорее, сволочь!

Григорий вяло потянул винтовку за ремень. Минуту сверлили друг друга тяжелыми, чужими глазами.

Снова бежали. У конца балки Григорий запрокинулся на спину. Скрипнул Петька зубами, схватил под мышки сухопарое тело товарища и потащил волоком. Балка разветвилась, отножина с лошадиными костями и седой полынью уперлась прямо в пахоту. Около арбы дядько запрягает в плуг лошадей.

— Лошадей до станицы!.. Махновцы догоняют!

Схватился Петька за хомут, дядько — за Петьку.

— Не дам!.. Кобыла сжеребена, куда на ней йихаты?!

Крепкий дядько корявыми пальцами цепко прирос к стволу, и мелькнула у Петьки мысль: вырвет винтовку, убьет за жеребую кобылу.

Впитал в себя страшные колючие глаза, рыжую щетину на щеках, мелкую дрожь около рта и рванул винтовку. Звонко лязгнул затвором.

— Уйди!

Нагнулся дядько за топором, что лежал около арбы, а Петька, чувствуя липкую тошноту в горле, стукнул по крутому затылку прикладом. Ноги в морщеных сапогах, как паучьи лапки, судорожно задвигались...

Григорий обрубил постромки и вскочил на кобылу. Под Петькой заплясал серый в яблоках тавричанский мерин. Поскакали пахотой на дорогу. Дружно заговорили копыта. Глянул Петька назад, а над балкой ветер пыльцу схватывает. Рассыпалась погоня — идет во весь дух.

Верст пять смахнули, те всё ближе. Видно, как передняя лошадь с задранной головой бросками кидает назад сажени, а у всадника вьется черная лохматая бурка.

Кобыла под Григорьем заметно сдавала ход, хрипела и коротко, отрывисто ржала.

— Жеребиться кобыла будет... Пропал я, Петя!— крикнул сквозь режущий ветер Григорий.

На повороте около кургана соскочил он на ходу, лошадь упала. Петька сгоряча проскакал несколько саженей, но опомнился и круто повернул назад.

— Что же ты?!— плачущим голосом крикнул Григорий, но Петька уверенно и ловко загнал обойму, прыгнул с лошади, приложился с колена, выстрелил в черную надвигающуюся бурку и, выбрасывая гильзу, улыбнулся.

— Смерть — это, брат, не фунт изюму!

Выстрелил еще раз. На дыбы встала лошадь, черная бурка сползла на землю, застрял сапог в стремени, и лошадь бездорожно помчалась в клубах пыли.

Проводил ее Петька невидящим взглядом и, широко расставив ноги, сел на дорогу. Григорий, растирая в потных ладонях душистую головку чабреца, дико улыбнулся.

Петька проговорил серьезно и тихо:

— Ну, теперь шабаш,— и лег на землю вниз лицом.

III

Во дворе исполкома сотрудники зарывали зашитые в мешки бумаги. Председатель Яков Четвертый на крыльце чинил заржавленный убогий пулемет. С утра ждали милиционеров, уехавших на разведку. В полдень Яков подозвал бежавшего мимо комсомольца Антошку Грачева, улыбнулся глазами, сказал:

— Возьми в конюшне лошадь, какая на вид справней, и скачи на Крутенький участок. Может, повстречаешь нашу разведку — передашь, чтобы вертались в станицу. Винтовка у тебя есть?

Антошка мелькнул босыми пятками, крикнул на бегу:

— Винтовка есть и двадцать штук патрон!

— Ну, жарь, да поживее!

Через пять минут со двора исполкома вихрем вырвался Антошка, сверкнул на председателя серыми мышастыми глазенками и заклубился пылью.

С крыльца исполкома видно Якову равномерно покачивающуюся лошадиную шею и непокрытую курчавую голову Антошки. Постоял на порожках, вошел в коридор, изветвленный седой паутиной. Сотрудники и ячейка в сборе. Окинул всех усталыми глазами, сказал:

— Антошка пы́хнул на разведку...—Помолчал, добавил, задумчиво барабаня пальцами:— А ребята на участке... уйдут от Махна, нет ли?..

Бродили по гулким, опустелым комнатам исполкома, читали тысячу раз прочитанные частухи Демьяна Бедного на полинявших плакатах. Часа через два во двор исполкома на рысях вскочили ездившие в разведку милиционеры. Не привязывая лошадей, взбежали на крыльцо. Передний, густо измазанный пылью, крикнул:

— Где председатель?

— Вот он идет. Ну как, видали? Много их? На колокольне отсидимся?..

Милиционер безнадежно махнул плетью.

— Мы наткнулись на их головной эскадрон... Насилу ноги унесли! Всего их тысяч десять. Прут, будто галь черная.

Председатель, морща брови, спросил:

— Антошку не встречали?

— Мы не узнали, кто это, а видно было, как за Крутым логом в степь правился один верховой. Должно, к Махну попал...

Стояли плотной кучей, перешептывались. Председатель дернул лохматую бороду, выдавил откуда-то из середки:

— Ребятенки, какие землю пошли отмерять на участок, явно пропали... Антошка тоже... Нам придется хорониться в камыше... Против Махна мы ничтожество...

Продагент рот раззявил, хотел что-то сказать, но в двери упало тревожно и сухо:

— Ходу, товарищ! На бугре — кавалерия!..

Как ветром сдуло людей. Были — и нету! Станица вымерла.

Закрылись ставни. Над дворами расплескалась тишина, лишь в бурьяне, возле исполкомовского плетня, надсадно кудахтала потревоженная кем-то курица.

IV

Ветер хлопающим пузырем надул на Антошкиной спине рубашку. Без седла сидеть больно. Рысь у коня тряская, не шаговитая. Придержал поводья, на гору из Крутого лога стал подниматься и неожиданно в версте расстояния от себя увидел сотню конных и две тачанки позади. Шарахнулась мысль: «Махновцы!»

Задернул коня, по спине колкий холодок, а конь, как назло, лениво перебирает ногами, не хочет со спокойной рыси переходить в карьер.

Его увидали, заулюлюкали, стукнули дробью выстрелов. Ветер хлещет в лицо, слезы застилают глаза, в ушах режущий свист. Страшно повернуть назад голову. Оглянулся только тогда, когда проскакал окраинные дворы станицы. На ходу соскочил с лошади, пригибаясь, побежал к ограде. Подумал: «Если бежать через площадь — увидят, догонят... В ограду, на колокольню!..»

Тиская в левой руке винтовку, правой толкнул калитку, зашуршал босыми ногами по усыпанной листьями земле. Церковная витая лестница. Запах ладана и затхлой ветхости, голубиный помет.

На верхней площадке остановился, лег плашмя, прислушался. Тишина. По станице петушиные крики.

Положил рядом с собой винтовку, снял подсумок, отер со лба липкую испарину. В голове мысли в чехарду играют: «Все равно меня убьют — буду в них стрелять... Петька Кремнев сказал как-то: Махно — буржуйский наемник...»

Вспомнилось, как стреляли на прошлой неделе за речкой в арбу на сто шагов и он, Антошка, попадал чаще, чем все ребята. В горле щекочущая боль, но сердце реже перестукивает.

Шесть всадников осторожно выехали на площадь, спешились, лошадей привязали к школьному забору.

Вновь рванулось и зачастило Антошкино сердце. Крепко сжал он зубы, унимая дрожь, прыгающими пальцами вставил обойму.

Откуда-то из проулка вырвался еще один конный, покружился на бешено танцующей лошади и, вытянув ее плетью, так же стремительно умчался назад. По небрежной, ухарской посадке Антошка узнал казака; взглядом провожая зеленую гимнастерку, качавшуюся над лошадиным крупом, вздохнул.

Застрекотали тачанки, зацокали бесчисленные копыта лошадей, прогромыхала батарея. Станица, как падаль червями, закишела пехотой, улицы запрудились тачанками, зарядными ящиками, пулеметными тройками.

Антошка, чувствуя легкий озноб, пальцами, холодными и чужими, тронул затвор, прислушался. Наверху, среди перекладин, ворковал голубь.

«Подожду малость...»

Около ограды спешенные махновцы кормили лошадей. Меж лошадьми кучами лежали они, в цветных шароварах и ярких кушаках, как пестрая речная галька. Говор, взрывы смеха. А по дороге, по две в ряд, тачанки катились и катились...

Решившись, Антошка поймал на мушку серую папаху пулеметчика. Гулко полыхнул выстрел, пулеметчик ткнулся головой в колени. Еще выстрел — кучер выронил вожжи и тихо сполз под колеса. Еще и еще...

У коновязей взбесились лошади, с визгом лягали седоков. На дороге билась в постромках раненая пристяжная, около школы с размаху опрокинулась пулеметная тачанка, и пулемет в белом чехле беспомощно зарылся носом в землю. Над колокольней тучей повисли конское ржанье, крики, команда, беспорядочная стрельба...

С лязгом пронеслась назад батарея. Антошку увидали. С деревянной перекладиной сочно поцеловалась пуля. Площадь опустела. На крыльце школы матрос-махновец ловко орудовал пулеметом, жалобно звенели пули, скользя по старому, позеленевшему колоколу. Одна рикошетом ударила Антошку в руку. Отполз, привстал, влипая в кирпичную колонну, выстрелил: матрос всплеснул руками, закружился и упал грудью на подгнившие кособокие ступеньки крыльца.

За станицей, около кладбища, с передка соскочила разлапистая трехдюймовка, на облупившуюся церквенку зевнула стальной пастью. Гулом взбудоражилась притаившаяся станичонка.

Снаряд ударил под купол, засыпал Антошку пыльной грудою кирпичей и звоном негодующим брызнул в колокола.

V

Петька лежал ничком, не двигаясь, но остро воспринимая и пряный запах чабреца, и четкий топот копыт.

Изнутри надвинулась дикая, душу выворачивающая тошнота. Помотал головой и, приподнявшись, увидел около парусиновой рубашки Григория пенистую лошадиную морду, синий казацкий кафтан и раскосые калмыцкие глаза на коричневом от загара лице.

В полуверсте остальные кружились около лошади, носившей за собой истерзанное человеческое тело в истерзанной бурке.

Когда Григорий заплакал, по-детски всхлипывая, захлебываясь, ломающимся голосом что-то закричал, у Петьки дрогнуло под сердцем живое. Смотрел, не моргая, как калмык привстал на стременах и, свесившись набок, махнул белой полоской стали. Григорий неуклюже присел на корточки, руками схватился за голову, рассеченную надвое, потом с хрипом упал, в горле у него заклокотала и потоком вывалилась кровь.

В памяти остались подрагивающие ноги Григория и багровый шрам на облупившейся щеке калмыка. Сознание потушили острые

шипы подков, вонзившиеся в грудь, шею захлестнул волосяной аркан, и все бешено завертелось в огненных искрах и жгучем тумане...

* * *

Очнулся Петька и застонал от страшной боли, пронизывающей глаза. Тронул рукой лицо, с ужасом почувствовал, как из-под века ползет на щеку густая студенистая масса. Один глаз вытек, другой опух, слезился. Сквозь маленькую щелку с трудом различал Петька над собой лошадиные морды и лица людей. Кто-то нагнулся близко, сказал:

— Вставай, хлопче, а то живому тебе не быть!.. В штаб группы на допрос ходим!.. Ну, встанешь? Мне все одинаково, могем тебя и без допроса к стенке прислонить!..

Приподнялся Петька. Кругом цветное море голов, гул, конское ржанье. Провожатый в серой смушковой папахе пошел впереди. Петька, качаясь,— следом.

Шея горела от волосяного аркана, на лице кровью запеклись ссадины, а все тело полыхало болью, словно били его долго и нещадно.

Дорогой к штабу огляделся Петька по сторонам: везде, куда глаз кинет,— на площади, на улицах, в сплюснутых, кривеньких переулках — люди, кони, тачанки.

Штаб группы в поповском доме. Из распахнутых окон прыгает на улицу старческий хрип гитары, звон посуды; видно, как на кухне суетится попадья, гостей дорогих принимает и потчует.

Петькин провожатый присел на крылечке покурить, буркнул:

— Постой коло крыльца, у штабе дела делают!

Петька прислонился к скрипучим перилам, во рту спеклось, пересох язык, сказал, трудно ворочая разбитым языком:

— Напиться бы...

— А вот тэбэ у штабе напоять!

На крыльцо вышел рябой матрос. Синий кафтан перепоясан красным кумачовым кушаком, махры до колен висят, на голове матросская бескозырка, выцветшая от времени надпись: «Черноморский флот». У матроса в руках нарядная, в лентах, трехрядка. Глянул на Петьку сверху вниз скучающими зеленоватыми глазками, замаслился улыбкой и лениво растянул гармонь:

Коммунист молодой,
Нащо женишься?
Прийдэ батько Махно,
Куда денешься?..

Голос у матроса пьяный, но звучный. Повторил, не поднимая закрытых глаз:

Прийдэ батько Махно,
Куда денешься?..

Провожатый последний раз затянулся папироской, сказал, не оборачивая головы:

— Эй, ты, косое падло, иди за мной!

Петька поднялся по крыльцу, вошел в дом. В прихожей над стеной распластано черное знамя. Изломанные морщинами белые буквы: «Штаб Второй группы»— и немного повыше: «Хай живе вильна Украина!»

VI

В поповской спальне дребезжит пишущая машинка. В раскрытые двери ползут голоса. Долго ждал Петька, мялся в полутемной прихожей. Ноющая глухая боль костенила волю и рассудок. Думалось Петьке: порубили махновцы ребят из ячейки, сотрудников, и ему из поповской, прокисшей ладаном спальни зазывно подмаргивает смерть. Но от этого страхом не холодела душа. Петькино дыханье ровно, без перебоев, глаза закрыты, лишь кровью залитая щека подрагивает.

Из спальни голоса, щелканье машинки, бабьи смешки и хрупкие перезвоны рюмок.

Мимо Петьки попадья на рысях в прихожую, следом за ней белоусый перетянутый махновец тренькает шпорами, на ходу крутит усы. В руках у попадьи графин, глазки цветут миндалем.

— Шестилетняя наливочка, приберегла для случая. Ах, если б вы знали, что за ужас жить с этими варварами!.. Постоянное преследование. Ячейка даже пианино приказала забрать. Подумайте только, у нас взять наше собственное пианино! А?

На ходу уперлась в Петьку блудливо шмыгающими глазами, брезгливо поморщилась и, узнав, шепнула махновцу:

— Вот председатель комсомольской ячейки... ярый коммунист... Вы бы его как-нибудь...

За шелестом юбок недослышал Петька конца фразы.

Минуту спустя его позвали.

— В угловую комнату живее иди, трясця твоей матери...

Белоусый в серебристой каракулевой папахе за столом.

— Ты комсомолец?

— Да.

— Стрелял в наших?

— Стрелял...

Махновец задумчиво покусал кончик уса, спросил, глядя выше Петькиной головы:

— Расстреляем — не обидно будет?

Петька вытер ладонью выступившую на губах кровь, твердо сказал:

— Всех не перестреляете.

Махновец круто повернулся на стуле, крикнул:

— Долбышев, возьми хлопца и снаряди с ним на прогулку второй взвод!..

Петьку вывели. Провожатый на крыльце ремешком связал Петькины руки, затянул узел, спросил:

— Не больно?

— Отвяжись,— сказал Петька и пошел в ворота, нескладно махая связанными руками.

Провожатый притворил за собой калитку и снял с плеча винтовку.

— Погоди, вон взводный идет!

Петька остановился. Было нудно оттого, что нестерпимо чесался подбородок, а почесать нельзя — руки связаны.

Подошел низенький, колченогий взводный. От высоких английских краг завоняло дегтем. Спросил у провожатого:

— Ко мне ведешь?

— К тебе, велели поскорее!

Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал:

— Чудак народ... Валандаются с парнишкой, его мучают и сами мучаются.

Хмуря рыжие брови, еще раз глянул на Петьку, выругался матерно, крикнул:

— Иди, вахлак, к сараю!.. Ну!.. Иди, говорят тебе, и становься к стене мордой!..

На крыльцо вышел белоусый махновец из штаба, перевесившись через резные балясины, сказал:

— Взводный, чуешь?.. Не стреляй хлопца, нехай он ко мне пойдет!

Петька взошел на крыльцо, стал, прислонясь к двери. Белоусый подошел к нему вплотную, сказал, стараясь заглянуть в узенькую, окровяненную щелку глаза:

— Крепкий ты, хлопец... Я тебя мылую, запишу до батька у вийсько. Служить будешь?

— Буду,— сказал Петька, закрывая глаз.

— А не утэчэшь?

— Кормить будете, одевать будете — не сбегу...

Белоусый засмеялся, наморщил нос.

— И хотел бы утэкты, та не сможешь... Я за тобой глаз поставлю.— Оборачиваясь к провожатому, сказал:— Возьми, Долбышев, хлопца в свою сотню, выдай, что ему требуется из барахла. Он на твоей тачанке будет. Гляди в оба. Винтовку пока не давай!

Хлопнул Петьку по плечу и, покачиваясь, ушел в дом.

Из станицы выехали на другой день в полдень. Петька сидел рядом с вислоусым Долбышевым, качался на козлах, думал тягучую, нудную думу.

Взмешенная грязь на дороге после дождя вспухла кочками.

Тачанку встряхивает, раскачивает из стороны в сторону. Шагают мимо телеграфные столбы, без конца змеится дорога.

В хуторах, в поселках — шум, мужичьи взгляды исподлобья, бабий надрывный вой...

Вторая группа откололась от армии и пошла по направлению к Миллерову. Армия двигалась левей.

Перед вечером Долбышев достал из козел измятую буханку хлеба, разрезал арбуз. Прожевывая, кинул Петьке:

— Ешь, браток, ты теперь нашей веры!

Петька с жадностью съел ломоть спелого арбуза и краюху хлеба, пахнущую конским потом.

Долбышев откромсал тесаком еще ломоть, сунул Петьке.

— Только нет у меня на тебя надежи! Так соображаю я, что сбегишь ты от нас! Порубать бы тебя — куда дело спокойнее!

— Нет, дядька, напрасно ты так думаешь. Зачем я от вас буду убегать? Может, вы за справедливость воюете...

— Ну да, за справедливость. А ты думал — как?

Петька поправил на глазу повязку и сказал:

— А ежели за справедливость, то на что ж вы народ обижаете?

— А чем мы его забижаем?

— Как чем? Всем! Вот хутор проехали, ты у мужика последний ячмень коням забрал. А у него детишкам есть нечего.

Долбышев скрутил цигарку, закурил.

— На то батькин приказ был.

— А ежели бы он приказ дал всех мужиков вешать?

— Гм... Ишь ты, куда заковырнул!..

Долбышев развешал над головой полотнища махорочного дыма, промолчал.

А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный, рябой матрос Кирюха-гармонист,— сказал, помахивая маузером:

— Ты, в гроб твою мать, так и разэтак, если еще раз пикнешь насчет политики — прикажу поднять у тачанки дышло и повесить тебя, сучкинова сына, вверх ногами... Понял?

— Понял,— ответил Петька.

— Ну, метись от меня ветром да помни, косой выволочек, чуть что — другой глаз выдолблю и повешу!..

Понял Петька, что агитацию нужно вести осторожнее. Дня два старался загладить свой поступок: расспрашивал у Долбышева про батько, про то, в каких краях бывали, но тот хранил упорное молчание, глядел на Петьку подозрительным, исподлобья, взглядом, цедил сквозь сжатые зубы скупые слова. Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым (который родом сам не откуда-нибудь, а из Гуляй-Поля и жил с Нестером Махно прямо-таки в тесном суседстве), его растеплили, разговаривать стал он с Петькой охотнее — и через день выдал ему карабин и восемьдесят штук патронов.

В этот же день перед вечером сотня стала привалом неподалеку

от слободы Кашары. Долбышев выпряг из тачанки коня; подавая Петьке цибарку, сказал:

— Скачи, хлопче, вон до энтих верб, там пруд, почерпни воды, кашу заварим!

Петька, стараясь сдержать прыгающее сердце, сел верхом и мелкой рысью поскакал к пруду.

«Доеду до пруда, а оттуда в гору, и айда»,— мелькнула мысль.

Доехал до пруда, обогнул узкую, полуразвалившуюся плотину, незаметно бросил цибарку и, ударив коня каблуками, выскочил на пригорок. Словно предупреждая, над головой взыкнула пуля, около становища хлопнул выстрел; Петька помутневшим взглядом смерил расстояние, отделявшее его от становища: было немного более полверсты.

Подумал: «Если скакать на гору, непременно настигнет пуля». Нехотя повернул коня, поехал обратно.

Долбышев, подвесив на кончик дышла казанок с картофелем, глянул на Петьку, сказал:

— Будешь баловать — убью! Так и попомни!

VII

Ранней зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил с тачанки попону, которой укрывался на ночь. В редеющей синеве осеннего дня перекатами колыхался крик.

— Дядька, что за шум?

Долбышев, стоя на козлах, во весь рост махал лохматой папахой и, багровый от натуги, орал:

— Батькови здравствовать!.. Ур-ра-а!..

Петька привстал, увидел, как по дороге, запряженная четверкой вороных, катится тачанка. С лошадей белая пена комьями, кругом верховые, а сам Махно, раненный под Чернышевской, держит под мышкой костыль, морщит губы — то ли от раны, то ли от улыбки. С задка тачанки ковер до земли свесился, пыль растрепанными космами виснет на задних колесах.

Мелькнула тачанка мимо, а через минуту только пыль толпилась вдали на дороге да таял, умолкая, гул голосов.

VIII

Прошло три дня. Вторая группа продвигалась к железной дороге. По пути не было ни одного боя. Малочисленные красные части отходили к Дону. Петька ознакомился со всей сотней: из полутораста человек — шестьдесят с лишним были перебежчики-красноармейцы, остальные — с бору да с сосенки.

Как-то на ночевке собрались у костра, под гармошку выбивали дробного трепака. Сухо покрякивала под ногами земля, схваченная легоньким морозцем.

Долбышев ходил по кругу вприсядку, щелкал по пыльным голенищам ладонями и тяжело сопел, как запаленная лошадь.

Потом, расстелив шинели и кожуха, легли вокруг огня. Пулеметчик Манжуло, прикуривая от головни, сказал:

— Есть такие промеж нас разговоры: болтают, что через Шахты поведет нас батько до румынской границы, а там кинет войско и один уйдет в Румынию.

— Брехни это!— буркнул Долбышев.

Манжуло ощетинился, обругал Долбышева матерком, тыкая в его сторону пальцем, крикнул:

— Вот он, дурочкин полюбовник! Возьми его за рупь двадцать! А ты, свиной курюк, думал, что он тебя посадит к себе на тачанку?..

— Не может он кинуть войско!..— запальчиво крикнул Долбышев.

— Раздолба!.. Отродье Дуньки грязной!.. Ведь не пустит румынский царь на свою землю двадцать тысяч!— белея от злобы, выкрикнул пулеметчик.

Его поддержали:

— Верно толкуешь!..

— В точку стрельнул, Манжуло!..

— Мы до тех пор надобны, покель кровь льем за батьку да за его любовниц, каких он с собой возит...

— Го-го-го!.. Ха-ха-ха!.. Подсыпай ему, брательник!— понеслись над костром крики.

Долбышев встал и торопливо пошел к тачанке сотника. Вслед ему пронзительно засвистали, заулюлюкали, кто-то кинул горящее полено.

— Наушничать пошел... Ну, ладно... Подойдет бой, мы его в затылок шлепнем!

Петька увидал, как сотник Кирюха шагает к костру, и отодвинулся подальше от огня.

— Вы что, хлопцы? Кто из вас по петле соскучился?.. Кому охота на телеграфных столбах качаться? А ну, говорите!..

Манжуло привстал с земли, подошел к сотнику в упор, сказал, дыша часто и отрывисто:

— Ты, Кирюха, палку не перегинай! Она о двух концах бывает!.. Прищеми свой паскудный язык!

— А ну, пойдем в штаб!

Кирюха ухватил пулеметчика за рукав, но кругом глухо загудели, привстали с земли, разом сомкнулась позади сотника стена лохматых папах.

— Не трожь!

— Душу вынем!

— Тебя вместе с штабом вверх колесами опрокинем!

Кирюху понемногу начали подталкивать, кто-то, развернувшись, звонко хлестнул его по уху. Синий кафтан сотника треснул у ворота. Брякнули затворы винтовок. Сотник рванулся, в воздухе повис стонущий крик:

— Сполóх!..[1] Изме...

Пулеметчик зажал ему ладонью рот, шепнул на ухо:

— Уходи да помалкивай... Пулю в спину получишь!

Расталкивая скучившихся махновцев, провел его до первой тачанки и вернулся к костру.

Снова загремел рокочущий хохот, пискнула гармонь, забарабанили каблуками танцоры, а около тачанки повалили Долбышева наземь, заткнули кушаком рот и долго били прикладами винтовок и ногами.

* * *

На другой день из штаба группы прискакал ординарец, передал сотнику засаленный блокнотный листик. На листике всего четыре слова набросано чернильным карандашом: «Приказываю сотне взять совхоз».

IX

С бугра виден совхоз. За белой каменной змейчатой оградой — кирпичные постройки, высокая труба кирпичного завода.

Сотня, бросив на шляху тачанки, бездорожно цепью пошла к совхозу.

Сотник Кирюха с лицом, перевязанным бабьим пуховым платком, ехал впереди. Вороная кобылица под ним спотыкалась, он ежеминутно оглядывался на реденькую шеренгу людей, молча шагавших позади.

Петька шел седьмым на левом фланге. Почему-то казалось, что сегодня — скоро — должно случиться что-то большое и важное. И от этого ожидания было ощущение нарастающей радости.

Когда на выстрел подошли к совхозу, сотник соскочил с лошади, крикнул:

— Ложись!

Рассыпались возле балки. Легли. Ударили по каменной ограде недружным залпом. С крыши совхоза хриповато и неуверенно заговорил пулемет. По двору замаячили люди. Пули ложились позади цепи, подымали над землей комочки тающей пыли.

Три раза ходила сотня в атаку и три раза отступала до балки. Последний раз, когда бежал Петька обратно, увидел возле сурчиной норы Долбышева, лежавшего навзничь, нагнулся — под папахой на лбу у Долбышева дырка. Понял Петька, что подстрелили его свои же: выстрел почти в упор, в лицо, повыше глаза.

Четвертый раз сотник Кирюха вынул из ножен гнутую кавказскую шашку и, обводя сотню соловыми глазами, прохрипел:

— Вперед, хлопцы!.. За мной!..

[1] Сполох — здесь: тревога.

Но хлопцы, не двигаясь с места, глухо загудели. Манжуло, пулеметчик, выкинул из винтовки затвор, крикнул:

— На убой ведешь? Не пойдем!..

Петька, чувствуя, как холодеют его пальцы, а тело покрывается липким потом, выкрикнул рвущимся голосом:

— Братцы!.. За что кровь льете?.. За что идете на смерть и убиваете таких же тружеников, как и вы?..

Голоса смолкли. Петька сразу почувствовал, как вспотел у него в руках винтовочный ремень.

— Братцы!.. Давайте сложим оружие!.. У каждого из вас есть родная семья... Аль не жалко вам жен и детей? Думали вы об этом, что будет с ними, ежели вас перебьют?..

Сотник выдернул из кобуры маузер, но Петька предупредил его движение, вскинул винтовку, почти не целясь, выстрелил в синий распахнутый кафтан. Кирюха закружился волчком и лег на землю, зажимая руками грудь.

Петьку окружили, сзади ударили прикладом, смяли и повалили на землю. Но пулеметчик Манжуло, растопыривая руки, нагнулся над ним, заорал дурным голосом:

— Стой!.. Не убивать парня!.. Стой — нехай доскажет, тогда пристукаем!..

Приподнял Петьку с земли, встряхнул:

— Говори!

У Петьки перед глазами плывет земля и клочковатое взлохмаченное небо. Собрал в один комок всю волю, заговорил:

— Убивайте!.. Один конец!..

Сзади гаркнули:

— Громче... ничего не слыхать!

Петька вытер рукавом сбегающую с виска кровь, сказал, повышая голос:

— Обдумайте толком. Махно доведет вас до Румынии и бросит!.. Ему вы нужны только сейчас!.. Кто хочет холопом быть — уйдет с ним, остальных Красная Армия уничтожит. А если сейчас мы сдадимся, нам ничего не будет...

В балке сыро. Тишина. Дышать всем трудно, словно не хватает воздуха...

Ветер низко над землей стелет тучи. Тишина... тишина...

Пулеметчик потер рукой лоб, спросил тихо:

— Ну, как, хлопцы?..

Потупленные головы. В стороне сотник Кирюха разодрал на простреленной груди рубаху, в последний раз взбрыкнул ногами и затих, мелко подрагивая.

— Кто сдаваться — отходи направо! Кто не хочет — налево!— крикнул Петька.

Пулеметчик отчаянно махнул рукой и шагнул направо, за ним хлынули торопливо и густо. Человек восемь остались на месте, помялись, помялись и подошли к остальным...

Через пять минут к совхозу шли тесной валкой. Впереди Петька

и пулеметчик Манжуло. У Петьки на заржавленном штыке разорванная белая исподняя рубаха вместо флага.

Из ворот совхоза высыпали кучей. Винтовки наизготове, смотрят недоверчиво.

Не доходя шагов триста, сотня стала. Петька и Манжуло отделились, без винтовок двинулись к совхозу. Навстречу им двое совхозцев. На полдороге сошлись. Поговорили немного. Бородатый совхозец обнял Петьку. Манжуло, утирая усы, крест-накрест поцеловался с другим.

Гул одобрения с той и с другой стороны. Сотня с лязгом сваливает в одну кучу винтовки, и по одному, по два, кучками идут в распахнутые ворота совхоза.

X

Из округа приехал в совхоз уполномоченный ЧК. Расспросил Петьку, записал показания в книжку и, пожав ему обе руки, уехал.

Часть махновцев влилась в красный кавалерийский полк, преследовавший Махно, остальные пошли в округ, в военкомат. Петька остался в совхозе.

После пережитого так хорошо без движения лежать на койке. Как будто утихает режущая боль в порожней глазной впадине. Будто никто сроду не волочил Петьку на аркане, не бил смертным боем... Недавнее прошлое как-то не помнится, не хочет Петька его вспоминать.

Но когда в совхозном клубе идет мимо треснувшего зеркала, мимоходом увидит свое землистое, изуродованное лицо,— горечь сводит губы и труднее становится дышать.

Во вторник перед вечером в комнату к Петьке вошел секретарь совхозной ячейки. Сел на койку рядом с Петькой, поджал длинные, в охотничьих сапогах, ноги, откашлялся:

— Приходи через час в клуб на общее собрание.

— Ладно, приду.

Посидел секретарь и ушел. Через час Петька в клубе. Слушает доклады председателя совхоза, агронома, заведующего кирпичным заводом, ветеринара. Перед Петькой в отчетных цифрах проходит налаженная, размеренная, как часы, жизнь.

Протокол. Выработка резолюций. Пожелания.

В текущих делах слова попросил секретарь ячейки.

— Товарищи, у нас в совхозе живет комсомолец Кремнев, Петр. Вы знаете, что ему мы обязаны тем, что сохранили совхоз от разгрома. Ячейка предлагает отправить Кремнева в округ на излечение, а потом зачислить его на освободившееся место на нашем заводе. Давайте голоснем. Кто «за»?

Единогласно. Воздержавшихся нет. Но Петька встал со скамьи, из порожней глазной впадины бежит у него на щеку торопливая

мутная слеза. У Петьки губы сводит. Постоял, оглядел собрание прижмуренным глазом, сказал, трудно ворочая непослушным языком:

— Спасибо, но я не могу остаться у вас... Я рад бы работать с вами... Но дело в том... дело вот в чем: у вас жизнь идет как по шнуру, а там... в станице, откуда я... там жизнь хромает, насилу наладили дело, организовали ячейку, и теперь, может быть, многих нет... махновцы порубили... и я хочу туда... там сильнее нуждаются в работниках...

Все молчат. Все согласны. В клубе тишина.

XI

Провожать пошли чуть ли не всем совхозом. Пока попрощался Петька и поднялся на гору — смерклось. Над дорогой, над немым строем телеграфных столбов расплескалась темнота...

Ползет вдоль Дона, повыше лобастых насупленных гор, Гетманский шлях. Молча шагает Петька.

В черной вязкой темени, в пустой тишине спящей ночи звонко чеканятся шаги. Похрустывает под ногами иней. Ямки, вдавленные лошадиными копытами, затянуты тоненькой пленкой льда. Лед хрупко звенит, проламываясь, хлюпает мерзнущая вода.

Из-за кургана, караулящего шлях, выполз багровый от натуги месяц. Неровные, косые плывущие тени рассыпались по степи. Шлях засеребрился глянцем, голубыми отсветами покрылся ледок.

Молча шагает Петька, раскрытым ртом жадно хлебает воздух. Увядающая придорожная полынь пахнет горечью, горьким пóтом...

Без конца кучерявится путь-дороженька, но Петька твердо шагает навстречу надвигающейся ночи, и из голубого полога неба бледно-зеленым светом мерцает ему пятиугольная звезда.

1925

НАХАЛЕНОК

I

нится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостинку, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:

— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги растут!..

— За что, дедуня?— спрашивает Мишка.

— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..

— Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях!— в страхе кричит Мишка.

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:

— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чуточку открыл левый глаз — в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу...»

Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на пасху, когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воет.

Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как каркнет:

— А где мое потомство?

Мишка струхнул, под одеяло забрался.

— Ми́нюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел!— кричит мамка.

Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.

— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го!..— кричит батянька и знай себе пестает Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает.

Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.

— Пусти, батянька!

— Ан вот не пущу!

— Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!..

Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь:

— Сколько ж тебе лет, пистолет?

— Восьмой идет,— поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.

— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?

— Помню!..— крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.

Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:

— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак этакий!—

И отца просит:— Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним займаешься!

Ссадил Мишку отец на пол и говорит:

— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.

Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька,— и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пы́хнул к пруду.

Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька — попов сынок.

— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.

Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:

— Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..

Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:

— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под забором родила!..

— А ты видал?

— Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке.

Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.

— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой — кровожад и чужие пироги трескает!..

— Нахаленок!..— кривя губы, крикнул попович.

Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:

— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?

Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:

— Мне батянька получшей твоего с войны принес!

— Вре-ошь?— недоверчиво протянул Витька.

— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значится — принес!.. И заправское ружье...

— Подумаешь, какой ты стал богатый!— завистливо усмехнулся Витька.

— И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.

Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.

— А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пастухом. Ага, что?..

Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:

— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!

— Говори.

— Подойди ко мне!..

Мишка подошел и подозрительно скосился:

— Ну, говори!

Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:

— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог скажет: «За то, что твой отец был коммунистом,— отправляйся в ад!..» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..

— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?

— Мой папочка — священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь...

Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой. У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу кулаком:

— Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь — не ходи мимо нашего двора!

Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить...

Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка — выручать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил — глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит.

— Подойди ко мне, голубь мой!

Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду.

— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?

— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостиной высушу!.. Ах ты лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?..

Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:

— Поди на своего умника полюбуйся!

Выскочила мать.

— За что ты его?

— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..

— Это он на супоросой свинье катался?— ахнула мать.

Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед

снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил:

— Не езди на свинье!.. Не езди!..

Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:

— Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь?

Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой — не достал. Подхватила мать Мишку — в хату толкнула:

— Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь — не по-дедовски шкуру спущу!..

Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.

Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:

— Ну, дедунюшка... попомни!

— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?

Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.

— Значит, ты мне грозишь?— переспрашивает дед.

Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:

— Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!

Дед выходит не крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка.

* * *

Для отца он — Минька. Для матери — Ми́нюшка. Для деда — в ласковую минуту — постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза —«эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!».

А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы — Мишка и «нахаленок».

Девкой родила его мать. Хотя через месяц и обвенчалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя, но прозвище «нахаленок» язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним.

Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купанья в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.

Вот за глаза-то да за буйную непоседливость, и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.

На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.

Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:

— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.

Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается — не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, покряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно стукаясь головой о перекладины, дополз до конца.

— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут нестись? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь, постреленыш?

Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул...

Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:

— Твой батянька на войне был?

— Был.

— А что он там делал?

— Известно что — воевал!..

— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..

Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза, а тут еще Витька-попович больно задел его.

— А твой отец коммунист?..— спрашивает.

— Не знаю...

— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..

Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и сказал:

— У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает!

Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:

— Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает!..

Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:

— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, а отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»

Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:

— Бейте его, ребята, что смотреть?!

— Бей коммунячьего сына!..

— Нахаленок!..

— Звездани его, Прошка!

Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу, Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь, грузно шлепнулся на песок.

Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот.

Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.

Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.

Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.

Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:

— Батя, ты на войне что делал?

Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:

— Воевал, сыночек!

— А ребята... ребята гутарят, что ты там только вшей убивал!..

Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.

— Брешут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.

— С кем ты воевал?

— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.

Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:

Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
Не ходи ты на войну, нехай батько иде,
Батько — старенький, на свити нажився...
А ты — молоденький, тай ще не женився...

Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.

— Ты мне сейчас не мешай, Минька,— сказал отец,— я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь и я тебе про войну все расскажу!

* * *

День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.

Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее крутился.

— Скоро вечéрять будем?

— Успеешь, непоседа, оголодал!..

Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб — и он за ней, мать на кухню — и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочится.

— Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..

— Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел — взял кусок и лопай!

А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.

За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и — опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.

Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол — стук!.. А Мишка локтем в стену — бух!..

Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стукает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке:

— Я тебе, окаянный, прости, господи!.. Постучи у меня, я те стукну!

Быть бы драке, но в горницу вошел отец.

— Ты зачем же, Минька, тут лег?— спрашивает.

— Я с маманькой сплю.

Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:

— А я тебе в горнице с дедом постелил...

— Я с дедом не ляжу!..

— Это почему ж?..

— У него от усов табаком дюже воняет!

Отец опять покрутил усы и вздохнул:

— Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...

Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:

— Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче... Ложись ты с дедом!

Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал:

— Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!

— Ну, ладно, лягу с дедом, а про войну рассказывать не буду.— Отец поднялся и пошел в кухню.

— Батянька!

— Ну?

— Ложись уж тут...— вздыхая, сказал Мишка и встал.— А про войну расскажешь?

— Расскажу.

Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку.

— Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..

Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:

— Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..

Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове:

— А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган? Хлеб наш там был...

И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо и по запыленным щекам его скупо текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...

Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:

— Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?

Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:

— Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу...

...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:

— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били... А потом объявились большевики, и старшой у них — по прозвищу

Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все — ваше!..»

Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками — верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?

А тот самый Ленин — старшой у большевиков — народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много, что заплутаться можно.

Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нижет... Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:

— Не холодно вам, товарищ?

А я ему говорю:

— Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..

Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.

Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.

— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:

— Так не сломят нас буржуи?

— В носе у них не кругло, товарищ Ленин!— бывало, скажу ему.

По ему слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев — кровососов наших — побоку!.. Вырастешь — не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру и Ленин помрет, а дело наше до веку живо будет!.. Когда вырастешь — будешь воевать за Советскую власть, как твой батька воевал?

— Буду!— крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.

Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.

На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке — Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки,— потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.

Не успел уснуть, увидал во сне город: улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их многое множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь как отец рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.

Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг откуда ни возьмись шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе.

— Ты, Мишка, почему без делов шляешься?— спрашивает он очень ласково.

— Меня дедуня пустил поиграть,— отвечает Мишка.

— А ты знаешь, кто я такой?

— Нет, не знаю...

— Я — товарищ Ленин!..

У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его, Мишку, за рукав и говорит:

— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь?..

— Меня дедуня не пущает!..— оправдывается Мишка.

— Ну, как хочешь,— говорит товарищ Ленин,— а без тебя у меня — неуправка! Должон ты ко мне в войско вступить, и шабаш!..

Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:

— Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..

— Обязательно заступлюсь!—сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть — язык присох...

Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся. Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровянистой пеной клубятся плывущие с востока облака.

* * *

С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.

В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низень-

кого человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал:

— Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.

— Оно конечно, мы не прочь,— сказал дед.— А мандаты у вас имеются, господин товарищ?

Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.

— Есть, дедушка, все есть!— улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу.

Дед за ним, а Мишка за дедом.

— Вы по каким же делам к нам прибыли?— дорогой спросил дед.

— Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.

Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаный портфель, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:

— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!

Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; крепко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.

Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:

— Кто это?

По полу шлепают чьи-то босые ноги.

— Кто там?— спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку.

— Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

— Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!..

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.

Страх охватил Мишку: ну, как заскупится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

— Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую, и ишо отдам все как есть бабки, и...— Мишка

с отчаянием махнул рукой и сказал:— И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

— А зачем тебе Ленин?— улыбаясь, спросил чужак.

«Не даст!..»— мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

— Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и — рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает:

— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!

Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.

Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:

— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую рань поднялся?

Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.

Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.

С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.

Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.

Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.

— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки!

Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:

— Гражданы!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..

Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:

— Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть...

Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.

— Не нужен пастух!

— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи нанимается!..

— К черту Фому Коршунова!

Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.

— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять!— орал чужак, грохая по столу кулаком.

— Своего человека из казаков выберем!..

— Не нужен!..

— Не хо-о-тим... мать-перемать!..— шумели казаки, и пуще всех Прохор, зять лавочника.

Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке — вскочил на скамью:

— Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А там опять...

Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:

— Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут себе...

— Прохора в председатели!..— гудели около дверей.

— Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..

Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови и брызгаясь слюной, долго что-то выкрикивал.

«Должно, ругается»,— подумал Мишка.

Чужак громко спросил:

— Кто за Фому Коршунова?

Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:

— Шестьдесят три... шестьдесят четыре,— не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул,— шестьдесят пять!

Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:

— Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!

Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо.

— Ах ты шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосует!..

Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:

— Таких правов не имеешь!

— Я тебе покажу права!..

Обида была, как и все обиды, очень горькая.

Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:

— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!

На другой день утром — сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:

— А ведь это военный оркестр!

Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое — туп-туп-туп-туп...

Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.

В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.

У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!..»

Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась. Уцепился за подсумок крайнего.

— Вы куда идете? Воевать?

— А то как же? Ну да, воевать!

— А за кого вы воюете?

— За Советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в середку.

Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь, щелкнул его по вихрастому затылку, другой на ходу достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то из передних рядов крикнули:

— Сто-о-ой!..

Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо легли в холодке, под тенью школьного забора. К Мишке подошел высокий бритый красноармеец с шашкой на боку. Спросил, морща губы в улыбке:

— Ты откуда к нам приблудился?

Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие штанишки.

— Я иду с вами воевать!

— Товарищ комбат, возьми его в помощники!— крикнул один из красноармейцев.

Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с чудным прозвищем «комбат» нахмурил брови, крикнул строго:

— Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем его, но с условием...— Комбат повернулся к Мишке и сказал:— На тебе штаны с одной помочью, так нельзя, ты нас осрамишь своим видом!.. Вот, погляди: на мне две помочи, и на всех по две. Беги, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем тут...— Потом он повернулся к забору, крикнул, подмигивая:— Терещенко, пойди принеси новому красноармейцу ружье и шинель.

Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил:

— Слушаюсь!..— и быстро пошел вдоль забора.

— Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую помочь!..

Мишка строго взглянул на комбата:

— Ты, гляди, не обмани меня!

— Ну, что ты? Как можно!..

От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка до ворот – запыхался. Дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами, вихрем ворвался в хату.

— Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..

В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обежал Мишка двор, гумно, огород — ни отца, ни матери, ни деда нет. Вскочил в горницу — на глаза попался мешок. Отрезал ножом длинную ленту, пришивать некогда, да и не умеет Мишка. Наскоро привязал ее к штанам, перекинул через плечо, еще раз привязал спереди и опрометью под амбар.

Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, указывающую на него, Мишку, шепнул, переводя дух:

— Ну, вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..

Бережно завернул карточку в лопух, сунул за пазуху и по улице вскачь. Одной рукой карточку к груди жмет, другой штанишки поддергивает. Мимо соседского плетня бежал, крикнул соседке:

— Анисимовна!

— Ну?

— Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..

— Ты куда летишь, сорванец?

Мишка махнул рукой:

— На службу ухожу!..

Добежал до площади и стал как вкопанный. На площади — ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гоцают шаги уходящих.

Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на другую улицу — не слышно ни музыки, ни топота ног.

* * *

Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду:

— Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел. Разверстка начинается.

Солдаты ходили по дворам: щупали штыками землю в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в общественный амбар.

Пришли к председателю. Передний, посасывая трубку, спросил у деда:

— Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..

Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:

— Ведь у меня сын-то коммунист!

Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закрома и улыбнулся.

— Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а остальное тебе на прокорм и на семена.

Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел, постонал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул рукой и повез к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного поплакала, а Мишка помог деду насыпать зерно в мешки и пошел к попову Витьке играть.

Только что сели в кухне, разложили на полу вырезанных из бумаги лошадей,— в кухню вошли те же солдаты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал навстречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но солдат с трубкой строго сказал:

— Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?

Из горницы выскочила растрепанная попадья, улыбнулась воровато:

— Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!.. Муж еще не ездил по приходу...

— А подпол у вас есть?

— Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в амбаре...

Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол, сказал, поворачивая голову к попадье:

— А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла?..

Попадья, бледнея, рассмеялась:

— Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в сад поиграли!..

Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке:

— Как же туда спуститься, малец?

Попадья хрустнула пальцами, сказала:

— Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет!

Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:

— Не угодно ли, товарищи, закусить? Пройдемте в комнаты!

Попадья, проходя мимо Мишки, больно щипнула его за руку и ласково улыбнулась:

— Идите, детки, в сад, не мешайте здесь!

Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули стол, сковырнули дерюгу. Солдат с трубкой приподнял половицу, заглянул в подпол и покачал головой:

— Как же вам не стыдно? Говорили — хлеба нет, а подпол доверху засыпан пшеницей!..

Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел на двор.

Следом за ним в сенцы выскочила попадья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, начала его возить по полу.

Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь слезами, рассказал все матери; та только за голову ухватилась:

— И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз долой, пока я тебя не отбуздала!..

С тех пор всегда, после каждой обиды, заползал Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и, смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался на обидчика.

Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребятишки не водились с ним, к прозвищу «нахаленок» прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке кричали:

— Эй ты, коммуненок! Коммунячев недоносок, оглянись!..

Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером; не успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом, а маманька голосит и причитает, ровно по мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: отец шинель свою скатал и сапоги надевает.

— Ты куда идешь, батянька?

Отец засмеялся, ответил:

— Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пущает!..

— И я с тобой, батянька!

Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами.

— Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сразу!.. Вот я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старый...

Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, насилу он ее стряхнул, а дед только крякнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо:

— Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может, без тебя как-нибудь?.. Неровен час, убьют, пропадем мы тогда!..

— Брось, батя... Негоже так. Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе под подол хорониться полезет?

— Ну, что ж, иди, ежели твое дело правое.

Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпятся человек двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице на край станицы.

Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька, покачиваясь, тянулась сзади. По станице реденький собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха черным полушалком. Накрапывал дождик, где-то за станицей, над степью, резвилась молния и глухими рассыпчатыми ударами бухал гром.

Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил у деда:

— Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?

— Отвяжись!..

— Дедуня!

— Ну?

— С кем батянька будет воевать?

Дед заложил ворота засовом, ответил:

— Злые люди объявились по суседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а по-моему — просто разбойники... Вот отец твой и пошел с ними стражаться.

— А много их, дедушка?

— Болтают, что около двухсот... Ну, иди, постреленыш, спать, будет тебе околачиваться!

Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати — деда нет.

— Дедуня, где ты?

— Молчи!.. Спи, неугомонный!

Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы.

— Трах!.. тра-тра-рах!.. та-трах!

Будто гвозди вбивают.

Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:

— Это батянька стреляет?

Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала.

До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке и уснул тяжелым, нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.

Во дворе исполкома черным столбиком вытянулся дым, огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали конные. Один подскакал к двору, крикнул деду:

— Лошадь есть, старик?

— Есть...

— Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши коммунисты лежат!.. Навали и вези, нехай родственники зароют их!..

Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки вожжи и рысью выехал со двора.

Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты тащили с гумен сено, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна завыла толстым голосом. А бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую праздничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и обернул ноги половинками шали.

Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придавил голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал

на крыльцо, увидал, как дед с бородой, мокрой от слез, вводит во двор лошадь.

Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его, подпрыгивая, стукается об задок, течет на доски густая, черная кровь...

Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами: видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха.

Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел взгляд и, увидев на груди, на матросской рубахе, синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул, словно кто-то сзади ударил его по ногам,— широко раскрытыми глазами взглянул еще раз в неподвижное черное лицо и прыгнул на повозку.

— Батянюшка, встань! Батянюшка, миленький!..— Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок.

* * *

У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясется и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.

Долго молча гладил Мишку по голове, потом, поглядывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:

— Пойдем, внучек, во двор...

Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрогнул: в горнице на столе лежит батянька, молчаливый и важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед глазами встает батянькин остекленевший кровянистый глаз и большая зеленая муха на нем.

Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в конюшню, вывел Сараску, зачем-то вытер ему пенистые губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался: по станице крики, хохот. Мимо двора едут верхами двое, в темноте посверкивают цигарки, слышны голоса:

— Вот мы им и сделали разверстку!.. На том свете будут помнить, как у людей хлеб забирать!..

Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся к Мишкиному уху, зашептал:

— Стар я... не влезу на коня... Посажу я тебя, внучек, верхом, и езжай ты с богом на хутор Пронин... Дорогу я тебе укажу... Там должен быть энтот отряд, какой с музыкой шел через нашу станицу... Скажи им, нехай идут в станицу: тут, мол, банда!.. Понял?..

Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно, мимо пруда, мимо бандитской заставы провел Савраску в степь.

— Вот в бугор пошла балка, над ней езжай, никуда не свиливай!.. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родный!..

Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью

Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцой, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, убавляет шаг. Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется, подпрыгивая.

Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущине зреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет прохладой.

Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую Саврaскину шею, жмется к нему маленьким зябким комочком.

Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чем. В ушах у него застывает тишина, глаза закрыты.

Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу. Чуточку приоткрыл Мишка глаза — увидел внизу, под горой бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий лай.

Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толкнул Савраску ногами, крикнул:

— Но-о-о-о!..

Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные очертания ветряка.

— Кто едет? — окрик от ветряка.

Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хутором заголосили петухи.

— Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..

Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, почуявший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев.

— Сто-о-ой!..

Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно повалился на правый бок.

Мишка на мгновение ощутил страшную, непереносимую боль в ноге, крик присох у него на губах. Савраска наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее.

Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками, прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой.

— Мать родная, да ведь это парнишка!..

— Неужто ухлопали?!

Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо дохнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:

— Он целенький!.. Никак, ногу ему конь раздавил?..

Теряя сознание, прошептал Мишка:

— Банда в станице... Батяньку убили... Сполком сожгли, а дедуня велел вам скорейча ехать туда!

Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги...

Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется, а на глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая муха. Дед прошагал, укоризненно качая головой, маманька, потом маленький лобастый

человек с протянутой рукой, и рука указывает прямо на него, на Мишку.

— Товарищ Ленин!..— вскрикнул Мишка глохнущим голоском, силясь, приподнял голову — и улыбнулся, протягивая вперед руки.

1925

КОЛОВЕРТЬ

I

На закате солнца вернулся из станицы Игнат.

Хворостяными воротами поломал островерхий сугроб, лошадь заиневшую ввел во двор и, не отпрягая, взбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах скрипели обмерзшие половицы и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая снег. Пахомыч, тесавший на печке топорище, смел с колен стружки, сказал младшему сыну Григорию:

— Ступай, кобыленку отпряги, сена я наметал в конюшне.

Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал окоченевшими пальцами башлык. Морщась, сорвал с усов сосульки тающие и улыбнулся, радости не скрывая:

— Слухом пользовался — красногвардейцы на округ идут...

Пахомыч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным:

— Войной идут али так?

— Разно гутарют... А только беспокойствие в станице, томашится народ, в правлении миру видимо-невидимо.

— Не слыхал молвишки всчет земли?

— Гутарют, что большевики землю помещичью под гребло берут.

— Та-а-ак,— крякнул Пахомыч и соскочил с печки по-молодому.

Старуха у загнетки загремела ложками; щи в чашку наливая, сказала:

— Кличьте вечерять Гришатку.

На дворе смеркалось. Снежок перепадывал, и синевою хмурилась ночь. Пахомыч ложку отложил, бороду вытирая расшитым рушником, спросил:

— Про мельницу паровую разузнал? Когда пущать будут?

— Мельница работает в размол, можно везть.

— Ну, кончай вечерять и пойдем в амбар. Зерно надо перевеять, завтра, как удастся погода, уторком поеду смолоть. Дорога-то как, избитая?

— Шлях не спит, день и ночь едут, только разъезжаться трудновато. Сбочь дороги снегу глыбже пояса.

II

Григорий вышел за ворота проводить.

Пахомыч натянул рукавицы и угнездился в передке.

— На корову поглядывай, Гриша. Вымя налила она, что не видно[1] отелится...

— Ладно, батя, трогай!

Полозья саней с хрустом кромсают оттаявшую снежную корку. Вожжами волосяными Пахомыч шевелит, золу, просыпанную на улице, объезжает. Попадается оголенная земля — подреза липнут. Спины напружив, угинаясь, тянут лошади. Хоть и снасть справная и кони сытые, а Пахомыч нет-нет да и слезет с саней, кряхтя,— больно уж важко нагрузили мешков.

На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцой шаговитой. Где приглянулось, оттепель сжевала снег, дорогу дурашливо изухабила. Теплынь на провесне. Тает. Полдень.

Лес начал огибать Пахомыч — навстречу тройка стелется. А снегу возле леса намело горы. В сугробах саженных дорожку прогрызли узенькую, разминуться никак невозможно.

— Эка, скажи на милость, оказия-то!.. Тпру!..

Приостановил Пахомыч лошадей, слез и шапку снял. Голову седую и потную ветер облизывает. Потому снял Пахомыч шапчонку свою убогую, что опознал в тройке встречной выезд полковника Черноярова Бориса Александровича. А у полковника землю он арендовал восемь лет подряд.

Тройка ближе. Бубенцы промеж себя разговорчики вполголоса ведут. Видно, как с пристяжных пена шмотьями брызжет и тяжело-тяжело колышется коренник. Привстал кучер, кнутом машет.

— Сворачивай, ворона седая!.. Что дорогу-то перенял?!

Поравнялся и лошадей осадил. Пахомыч, в полах полушубка путаясь, с головой непокрытой к санкам подбежал, поклон отвалил низенький.

Из саней, медвежьим мехом обитых, пучатся, не мигая, глаза стоячие. Губы рубчатые, выскобленные досиня, кривятся.

— Ты почему, хам, дог-огу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял? Г-авнопг-авие?..

— Ваше высокоблагородие!.. Христа ради, объезжайте вы меня. Вы порожнем, а у меня вага... Я ежели свильну с дороги, так и не выберусь.

— Из-за тебя я буду лошадей кг-овных в снегу душить?.. Ах ты сволочь!.. Я тебя научу уважать офицег-ские погоны и уступать дог-огу!..

Ковер с ног стряхнул и перчатку лайковую кинул на сиденье.

---

[1] Что не видно — очень скоро, вот-вот.

— Аг-тем, дай сюда кнут!

Прыгнул полковник Чернояров с саней и, размахнувшись, хлобыстнул кнутом Пахомыча промеж глаз.

Охнул старик, покачнулся, лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь.

— Вот тебе, негодяй, вот!..

Бороду Пахомычеву седую дергал, хрипел, брызгаясь слюной.

— Я из вас дух кг-асногваг-дейский выколочу!.. Помни, хам, полковника Чег-нояг-ова!.. Помни!..

Над талой покрышкой снега маячит голубая дуга. Бубенцы говорят невнятным шепотом... Сбочь дороги, постромки обрывая, бьются лошади Пахомыча, сани опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно, а он тройку глазами немигающими провожает. Будет провожать до тех пор, пока не скроется в балке задок саней, выгнутых шеей лебединой.

Век не забыть Пахомычу полковника Черноярова Бориса Александровича.

III

С ведрами от криницы идет Пахомычева старуха.

В вербах, стыдливо голых, беснуются грачи. За дворами, на бугре, промеж крыльев красношапого ветряка на ночь мостится солнце. В канавах вода кряхтит натужисто, плетни раскачивает. А небо — как вянущий вишневый цвет.

Ко двору подошла, у ворот подвода. Лошади почтовые с хвостами, куце подкрученными, и у ног их, захлюстанных и зябких, куры парной помет гребут. Из тарантаса, полы офицерской шинели подбирая, высокий, узенький — в папахе каракулевой — слез. Повернулся к старухе лицом иззябшим.

— Мишенька!.. Сыночек!.. Нежданный!..

Коромысло с ведрами кинула, шею охватила, губами иссохшими губы не достанет, на груди бьется и ясные пуговицы и серое сукно целует.

От материной кофтенки рваной навозом коровьим воняет. Отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул.

— Неудобно на улице, мамаша... Вы укажите, куда лошадей поставить, и чемодан мой снесите в комнату... Заезжай во двор, слышишь, кучер?

IV

Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой: плоть от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого.

— Надолго приехал, сынок?

Сидит Михаил у окна, пальцами бледными, не рабочими, по столу постукивает.

— Я командирован из Новочеркасска со специальным пору-

чением от войскового атамана. Пробуду, очевидно... Мамаша! Сотрите молоко со стола, что за неопрятность... Пробуду здесь месяца два.

Игнат с база пришел, следя грязными сапогами.

— Ну, здорово, братуха!.. С прибытием.

— Здравствуй.

Руку протянул Игнат, хотел обнять, но как-то разминулись и пальцы сошлись в холодном и неприязненном пожатии.

Улыбаясь натянуто, сказал Игнат:

— Ты, братушка, ишо погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали...

Брови нахмурил Михаил.

— Я еще казачьей чести не продал.

Помолчали нудно.

— Как живете?— спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги.

Пахомыч с лавки метнулся к сыну.

— Дай я сыму, Миша, ты руки вымажешь.— На колени стал Пахомыч, сапог осторожно стягивая, ответил:— Живем — хлеб жуем. Наша живуха известная. Что у вас в городе новостишек?

— А вот организуем казаков отражать красногвардейщину.

Спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши:

— А через какую надобность их отражать?

Улыбнулся Михаил криво:

— Ты не знаешь? Большевики казачества нас лишают и коммуну хотят сделать, чтобы все было мирское — и земля и бабы...

— Побаски бабьи рассказываешь!.. Большевики нашу линию ведут.

— Какую вашу линию?

— Землю у панов отымают и народу дают, вон она куда кривится, линия-то...

— Ты что же, Игнат, за большевиков стоишь?

— А ты за кого?

Промолчал Михаил. Сидел, к окну заплаканному повернувшись, и, улыбаясь, чертил на стекле бледные узоры.

V

За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над Гетманским шляхом раскорячился.

На кургане обглоданная столетиями, ноздреватая каменная баба, а через голову ее, прозеленью обросшую, солнце по утрам переваливает, вверх карабкается и сквозь мглистое покрывало пыли заботливо, словно сука — щенят, лижет степь, сады, черепичные крыши домов липкими, горячими лучами.

Зарею заехал от шляха с плугом Пахомыч. Ногами, от старости вихляющими, вымерял четыре десятины, щелкнул на муругих быков кнутом и начал чернозем плугом лохматить.

Давит на поручни Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а Пахомыч по борозде глянцевитой ковыляет, кнутом помахивает да на сына любуется: даром что парню девятнадцатый год, а в работе любого казака за пояс заткнет.

Загона три прошли и остановились. Солнце всходит. С кургана баба каменная, в землю вросшая, смотрит на пахарей глазами незрячими, а сама алеет от солнечных лучей, будто полымем спеленатая. По шляху ветер пыльцу мучнистую затесал столбом колыхающимся. Пригляделся Гришка — конный скачет.

— Батя, никак, Михайло наш вёрхи бежит?

— Кубыть, он...

Подскакал Михаил, бросил у стана взмыленную лошадь, к пахарям бежит, на пахоте спотыкается. Поравнялся — дух не переведет. Дышит, как лошадь запаленная.

— Чью вы землю пашете?!

— Нашевскую.

— Да ведь это земля полковника Черноярова?

Пахомыч высморкался и, подолом рубахи холщовой вытирая нос, сказал веско и медленно:

— Раньше была ихняя, а теперь, сынок, нашевская, народная...

Белея, крикнул Михаил:

— Батя! Знаю я, чье это дело!.. Гришка с Игнатом до худого тебя доведут!.. Ты ответишь за захват чужой собственности.

Пахомыч голову угнул норовисто:

— Наша теперя земля!.. Нету таких законов, чтоб иметь больше тыщи десятин... Шабаш! Равноправенство...

— Ты не имеешь права пахать чужую землю!..

— И ему права не дадены степью владать. Мы на солончаках сеем, а он позанял чернозем, и земля три года холостеет. Таковски есть права?..

— Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману арестовать тебя!..

Пахомыч повернулся круто, закричал, багровея и судорожно дергая головой:

— На свои кровные выучил... воспитал!.. Подлец ты, сучий сын!..

Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил:

— Я тебя, старая...— шагнул к отцу, кулаки сжимая, но увидел, как Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками, и, голову вбирая в плечи, не оглядываясь, пошел на хутор.

VI

У Пахомыча хата саманная. Частокол вокруг палисадника ребрами лошадиного скелета топорщится.

С поля приехал Григорий с отцом. Игнат баз заплетал хворостом, подошел, и от рук его пахуче несло пряным запахом листьев лежалых.

— Нас, Григорий, в правление требуют. На майдане сход хуторной.

— Зачем?

— Мобилизация, говорят... Красногвардейцы заняли хутор Калинов.

За гуменным пряслом меркла, дотлевала вечерняя заря. На гумне в ворохе рыжей половы остался позабытый солнечный луч, ветер с восхода ворохнул полову, и луч погас.

Гришка коня почистил, зерна задал. На крыльце кособоком вдовый Игнат с сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза братнины, от смеха сузившиеся, шепнул:

— Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют!..

Матери, выгонявшей из сенцев телка, сказал:

— Белье достань нам с Игнатом, маманя, сухарей всыпь...

— Куда вас лихоман понесет?..

— На кудыкино поле.

До поздней ночи на хуторском майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришел оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и присел на каменный порожек обессиленно. Тошнотой нудной наливалось тело, сердце трепыхалось скупыми ударами, а в ушах плескался колкий и тягучий звон. Сидел, поплевывая в блеклое отражение месяца, торчавшее в лужице примерзшей, и больно чувствовал, что налаженная, обычная, жизнь уходит, не оглянувшись, и едва ли вернется.

Где-то у огородов около Дона надсадно брехали собаки, в лугу размеренно и четко бил перепел. Ночь раскрылатилась над степью и молочной мутью закутала дворы. Закряхтел Пахомыч, дверью скрипнул.

— Ты спишь, Гриша?

Из амбара пахнуло тишиной и слежавшимся хлебом. Внутрь шагнул, нащупал шубу овчинную.

— Гриша, спишь, что ли?

— Нет.

Старик на край шубы присел, услыхал Гришка, как руки отцовы дрожью выплясывают мелкой и безустальной. Сказал Пахомыч глухо:

— Поеду и я с вами... Служить... в большевики...

— Что ты, батя?.. А дóма как же? Да и старый ты...

— Ну, что ж как старый? Буду при обозе состоять, а нет — так и в седле могу... А дома нехай Михайло правит... Чужие мы ему, и земля чужая... Нехай живет, бог ему судья, а мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать!

Разноголосо прогорланили первые петухи. Над Доном за изломистым частоколом леса заря заполыхала. Несмело и осторожно поползли тающие тени.

Вывел Пахомыч трех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил, оседлал. Вместе со старухой Пахомыча всхлипнули гуменные воротца, лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку.

— Надо летником ехать, батя, а то на шляху могут перевстреть!— вполголоса сказал Игнат.

Небо поблекло. Росой медвяной и знобкой вспотела трава. Из-за Дона, с песков лимонных, сыпучих, утро шагало.

VII

На защитном кителе полковника Черноярова звездочки чернильным карандашом скромненько вкраплены. Щеки мясистые в синих жилках. В стены паутинистые хуторского майдана баритон дворянски-картавый тычется. Пальцы розовато-пухлые, холеные, жестикулируют сдержанно и вполне прилично.

А кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром и хлебом пшеничным окисшим. Папахи красноверхие, бороды цветастые. Рты, распахнутые, ловят жадно, а баритон, картавящий, гаденький, из губ, дурной болезнью обглоданных:

— Дог-огие станичники!.. Вы исстаг-и были опог-ой цаг-я батюшки и Г-одины. Тепе-гь, в эту великую смутную годину, на вас смотг-ит вся Г-оссия... Спасайте ее, пог-уганную большевиками!.. Спасайте свое имущество, своих жен и дочег-ей... Пг-имег-ом выполнения гг-ажданского долга может послужить ваш хутог-янин хог-унжий Михаил Кг-амсков: он пег-вый сообщил нам пг-о то, что отец его и два бг-ата ушли к большевикам. И он пег-вый — как истинный сын тихого Дона — становится на его защиту!..

ПОСТАНОВИЛИ

Казаков нашего хутора Крамскова Петра Пахомыча и сынов его Игната и Григория Крамсковых, как перешедших на сторону врагов Тихого Дона, лишить казачьего звания, а также всех земельных паев и наделов, и по поимке передать военно-полевому суду Вешенского юрта.

VIII

Около прошлогоднего стога сена отряд остановился кормить лошадей. У хутора за гуменным пряслом стучал пулемет.

Комиссар, раненный в щеку навылет, на жеребце, белесом от пота, подскакал в тачанке, крикнул рвущимся и гундосым голосом:

— Гиблое дело!.. Видать, нашлепают нам!..

Жеребца промеж ушей вытянул плетюганом и, харкая и давясь черными шмотьями крови, засипел командиру отряда на ухо:

— Не пробьемся к Дону — могем пропасть. Посекут нас казаки, мешанину сработают... Скликай в атаку идтить!..

Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритую приподнял, трубки изо рта не вынимая:

— По коням!..

Отъехал комиссар сажени три, спросил, оборачиваясь:

— Как думаешь, ликвидируют нас?..— и поскакал, не дожидаясь ответа.

Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели, буравя сено; одна оторвала у тачанки смолянистую щепу и на лету приласкалась к пулеметчику. Выронил тот из рук портянку, в дегте измазанную, присел, по-птичьи подогнувши голову, нахохлился, да так и помер — одна нога в сапоге, другая разутая.

С железнодорожного полотна ветер волоком притащил надтреснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей, затомашившихся, повернулось курносое раззявленное жерло, плюнуло, и, лязгая звеньями, снова тронулся бронепоезд «Корнилов» № 8, а плевок угодил правее скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма и спутанные арбузные плети от прошлогоднего урожая.

И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи Пахомычева кобылица жеребая, с ногами, шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать: с хрипом голову вскидывала, на ногах подковы полустертые блестели. Песчаник жадно пил розоватую пену и кровь.

Болью колючей черствело сердце, шептал Пахомыч:

— Матка племенная... Эх, не брал бы, кабы знатье!..

— Дуришь, батя!..— на скаку прокричал Игнат.— Беги на бричку садись — видишь, в атаку лупим!..

Вслед ему глянул старик равнодушно.

Пулеметный треск, будто холстинное полотнище в клочья шматуют. На патронных ящиках лежал Пахомыч, слюну горько-приторную сплевывал. А над землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чабрецом и полынью, маревом дымчатым, струистым плыл сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших.

Подрагивала выщербленная голубая каемка леса над горизонтом, и сверху сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вторил пулеметам бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал.

— Не горюй, батя. Кобыла — дело наживное!..

Губы Гришкины бурые порепались от жары, веки от ночной бессонницы набухли.

В обнимку взял два ящика и взвихрился, потный и улыбающийся.

К вечеру подошли к Дону. Из лощины до сумерек садила батарея, по бугру маячили казачьи разъезды. Ночью желтый настырный глаз прожектора шнырял по зарослям терна, нащупывал коновязи, палатки, людей. Минуту цепко излапывал их, поливая светом мертвенным, и гас.

С рассветом — с бугра густо, цепь за цепью, как волны. Из терна вихрастого стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир отряда о подошву сапога излатанного выбил трубку, взглядом равнодушно-тяжелым обвел всех:

— Неустойка выходит, товарищи!.. Плывите через реку, в десяти верстах хутор Громов,— закончил устало:— Там — наши...

Коня расседлывая, крикнул Гришка отцу:

— Чего ж ты?!

— Глупство!..— строго сказал Пахомыч, а у самого челюсть нижняя запрыгала.— Плыви, Гриша!.. Коня разнуздай... А я того... стар уже...

— Прощай, батя!..

— С богом, сынок!..

— Ну, иди, лысый! Да ну же, черт, спужался!..

По пояс, по грудь, а вот уж одна голова Гришкина с бровями насупленными да сторожкие уши коня над сизой водой.

Загнал Пахомыч обойму сплющенным пальцем, на мушку ловил перебегавшие фигурки людей, потом выкинул последнюю дымную гильзу и руки волосатые поднял:

— Пропадаем, Игнат!..

В упор в лошадиную морду выстрелил Игнат, сел, широко расставив ноги, сплюнул на сырую, волнами нацелованную гальку и ворот рубахи защитной разорвал до пояса.

IX

За завтраком Михаил усики белобрысые нафиксатуаренные самодовольно накручивал.

— Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что большевизм в корне пресекаю. Со мною очень не разбалуешься, чуть что — и к стенке!

Мать вздохнула:

— А как же, Миша, наши?.. На случай, может, придут они...

— Я, мамаша, как офицер и верный сын тихого Дона не должен ни с какими родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной — все равно передам суду...

— Сыночек!.. Мишенька!.. А я-то как же?.. Всех вас одной грудью кормила, всех одинаково жалко!..

— Без всяких жалостей!..— Глазами повел строго на сынишку Игнатова:— А этого щенка возьмите от стола, а то я ему, коммунячьему выродку, голову отверну!.. Ишь, смотрит каким волчонком.. Вырастет, гаденыш, тоже большевиком будет, ак отец!..

X

На огороде возле Дона полой водой и набухающими почками тополей пахнет. Волны гребенчатые укачивают диких казарок, плетни огорода лижут, обсасывают.

Сажала картофель Пахомычева старуха, двигалась промеж лунок натужисто. Нагнется, и кровь полыхнет в голову, закружит ее тошно. Постоит и сядет. Молча глядит на черные жилы, спутавшиеся на руках узлом замысловатым. Губами ввалившимися шамшит беззвучно.

За плетнем Игнатов сынишка в песке играет.

— Бабуня!

— Аюшки, внучек?

— Поглянь-ка, бабуня, чего вода принесла.

— Чего же она принесла, родимый?

Встала старая, лопату не спеша воткнула, дверцами скрипнула. На отмели — ногами к земле — лошадь дохлая лоснится от воды, наискось живот лопнул, а ветерком вонь падальную наносит.

Подошла.

Шею лошадиную мертвые руки человека обняли неотрывно, на левой повод уздечки замотан накрепко, назад голова запрокинута, и волосы на глаза свисли. Глядела, не моргая, как губы, рыбой изъеденные, смеялись, ощеряя мертвый оскал зубов, и упала...

Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову черную охватила, мычала:

— Гри-ша!.. Сы-но-о-ок!..

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 186

За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхне-Донского Округа сотник Крамсков Михаил производится в подъесаулы и назначается комендантом при Н-ском военно-полевом суде.

Командующий Северным фронтом:
Генерал-майор *М. Иванов*
Адъютант (подпись неразборчива).

XI

Дорога обугленная. Конвойные верхами и их двое. Подошвы в ранах гнойных. В одном белье, покоробленном от крови. По хуторам, по улицам, унизанным людьми, под перекрестными побоями. На другие сутки вечером — хутор родной. Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скрученная отара овец. Нагнулся Пахомыч и клок зеленой пшеницы выдернул, губами задвигал трудно:

— Угадываешь, Игнат?.. Наша земля... с Гришей пахали...

Сзади свист плети витой.

— Без разгово-ров!..

Молча, головы угнув, по хутору. Ноги свинцовеют. Мимо частокола, мимо хаты саманной. Глянул Пахомыч на двор, ощетинившийся бурьяном махровитым, и грудь потер там, где колом, бóльным и неловким, растопырилось сердце.

— Батя! Вон мать на гумне...

— Не видит!..

Сзади:

— Молчи, сволочуга!..

Площадь, поросшая пышатками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца.

— Здорово, Пахомыч!.. Никак, землю отвоевывать ходил?

— Он отвоевал уж на кладбище сажень.

— Наука будет старому кобелю!

Палец с ногтем выпуклым, как броня черепахи, Пахомыч поднял, выдавил, судорожно переводя дух:

— Н-но, растаку вашу... Хучь погибнем мы, хучь и добро прахом пойдет, а вам... памятку вложат. Не ваша правда!

Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев, развернулся и молчком, зубы ощерив из рыжей бороды, ударил Пахомыча в голову.

— Бей их!!!— крик сзади.

С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, папахами красноверхими перекипала, сгрудилась в бешеной возне. Под дробный топот вязко и сочно стряли удары... Но с крыльца правления коршуном сорвался Микишара, клином разбороздил колыхавшуюся толпу. Вырвался в рубахе изорванной, белый, с перекошенным ртом, орал:

— Братцы!.. Фронтовики!.. Не допущай к убийству!..— шашку выдернул из ножен, над головой веером развернул сверкающую сталь.— На фронт их нету, так-перетак... А тут убивать могут?!

— Бей Микишару!.. Большункам продался!..

Стеной плотной стали Микишара и восемь фронтовиков, в отпуск пришедших, от толпы отгородили Пахомыча и Игната.

Постояли старики, погомонили и кучками пошли с площади. Смеркалось...

* * *

— Хотелось бы ваше г-ешающее слово услышать, подъесаул. Г-азумеется, мы обязаны их г-асстг-елять, но как-никак, а это ваши отец и бг-ат... Может быть, вы возьмете на себя тг-уд ходатайствовать за них пег-ед войсковым наказным атаманом?..

— Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю и Всевеликому войску Донскому...

С жестом трагическим:

— У вас, подъесаул, благог-одная душа и мужественное сег-дце. Дайте я вас по г-усскому обычаю г-асцелую за вашу самоотвег-женность в деле служения пг-естолу и г-одному наг-оду!..

Троекратный чмок и пауза.

— Как вы полагаете, дог-огой подъесаул, не вызовем ли мы г-асстг-елом возмущения сг-еди беднейших слоев казачества?

Долго молчал подъесаул Крамсков Михаил, потом, головы не поднимая, сказал глухо:

— Есть надежные ребята в конвойной команде... С ними можно отправить в Новочеркасскую тюрьму... Не проговорятся ребята... А арестованные иногда пытаются бежать...

— Я вас понимаю, подъесаул!.. Можете г-ассчитывать на чин есаула. Дайте пожать вашу г-уку!...

XII

Сарай для военнопленных, как паучье гнездо паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч, с лицами чугунными, опухшими; с улицы сынишка Игнатов в картузе отцовском и старуха Пахомычева руками окаменевшими к проволоке тоскливо пристыла, моргает веками кровяными, рот кривит, а слез нет — все выплакала.

Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком:

— Пшеницу нехай Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу.

Губами пожевал, сухо закашлялся:

— По нас же не горюй, старуха!.. Пожили... Все там будем. После панихидку отслужи. Поминать будешь, не пиши: «красногвардейца Петра», а прямо —«воинов убиенных Петра, Игната, Григория»... А то поп не примет... Ну, затем прощай, старуха!.. Живи... Внука береги. Прости, коль обидел когда...

Сынишку Игнат на руки взял; часовой, как будто не видит, отвернулся. Пальцами прыгающими из камыша мельницу мастерит сыну Игнат.

— Папаня, а чего у тебя кровь на голове?

— Это я ушибся, сынок.

— А начто тебе вон энтот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил?!

— Чудак ты какой!.. Он нарочно вдарил, шутейно...

Молчат. Камышовые былки под ногтями у Игната перезванивают.

— Пойдем домой, папаня? Ты мне мельницу дома сделаешь.

— Ты с бабуней иди, сынушка...— Губы у Игната жалко дрогнули, покривились.— А я потом приду...

Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи, ногу, прикладом перебитую, волочит и тельце маленькое, щуплое к груди жмет, жмет, жмет.

— Папанька, начто у тебя глаза мокрые?

Молчит Игнат.

Потухли сумерки. С луга, с болот уремистых, из зарослей ольхи и мочажинника туман на сады свалился росой — проседью серебряной. Траву притолок к земле, захолодевшей и влажной.

Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами подъесаула, в папахе каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным перегаром дыша:

— Далеко не водить!.. За хутор, в хворост!..

В тишине настороженной шаги гулкие и лязг винтовочных затворов.

Ночь свалилась беззвездная, волчья. За Доном померкла лиловая степь. На бугре — за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых — ночью щенилась волчица: стонала, как женщина в ро-

дах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку — из лощины, из зарослей хвороста — два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик.

Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно.

1925

СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

а окраиной станицы промеж немощно зеленой щетины хвороста стрянет солнце. Иду от станицы к Дону, к переправе. Влажный песок под ногами пахнет гнилью, как перепрелое, набухшее водой дерево. Дорога путаной заячьей стежкой скользит по хворосту. Натуживаясь и багровея, солнце плюхнулось за станичное кладбище, и следом за мною по хворосту голубизной заклубились сумерки.

Паром привязан к причалу, лиловая вода квохчет под исподом; приплясывая и кособочась, стонут в уключинах весла.

Паромщик черпалом скребет по замшевшему днищу, выплескивает воду. Приподымая голову, глянул на меня косо прорезанными желтоватыми глазами, буркнул нехотя:

— На тот бок правишься? Зараз поедем, отвязывай причал!

— Угребем мы двое?

— Надо бы угресть. Ночь спущается, а народ то ли подойдет, то ли нет.

Подсучивая шаровары, снова глянул на меня, спросил:

— Гляжу я — не свойский ты человек, не из наших краев... Откель бог несет?

— Иду домой из армии.

Паромщик скинул фуражку, кивком головы отбросил назад волосы, похожие на витое кавказское серебро с чернью, подмигивая мне, ощерил съеденные зубы:

— Как же идешь — по отпуску аль потаенно?

— Демобилизованный. Год мой спустили.

— Что ж, дело спокойное...

Сели за весла. Дон, играючи, поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежнего леса. О шершавое днище парома сухо чешется вода. Босые, исполосованные синими жилами ноги паромщика пухнут связками мускулов, посинелые ступни липнут, упираясь в скользкую перекладину. Руки у него длинные, костистые, пальцы в узловатых суставах. Он — высокий, узкоплечий, гребет

нескладно, сгорбатившись, но весло услужливо ложится на гребенчатую спину волны и глубоко буровит воду.

Я слышу его ровное, без перебоев, дыханье; от вязаной шерстяной рубахи пахнет едким потом, табаком и пресным запахом воды. Бросил весло, повернулся ко мне лицом.

— Запохаживается, что затрет нас в лесу! Дурна шутка, а делать нечего, парнище!

На середине течение напористей. Паром рванулся, норовисто кинул задом, кособочась потянулся к лесу. Через полчаса прибило нас к затопленным вербам. Весла обломались. В уключине обиженно суетился расщепленный обломок. В пробоину, хлюпая, сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Паромщик, окарачив ветку ногами, сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой, говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, резавших над головами вязкую темь:

— Идешь ты к дому, к семье... Мать небось ждет: сынок-кормилец вернется, старость ее пригреет, а ты, должно, близко к сердцу не принимаешь того, что она, мать твоя, белым днем чахнет по тебе, а ночьми слезами материнскими исходит... Все вы, сынки, таковские... Пока не нажил своего приплоду, до тех пор и не лежит у вас душа к родительским страданьям. А сколько их кажному приходится переносить?

Иная баба порет рыбу и раздавит желчь; уху-то хлебаешь, а в ней горечь неподобная. Так вот и я: живу, только хлебать-то припадает самую горечь... Иной раз терпишь-терпишь, да и скажешь: «Жизня, жизня, когда ты похужеешь?..»

Ты человек не свойский, посторонний,— вот ты и обсуди умом: в какую петлю мне голову просовывать?

Есть у меня дочь Наташка, нонешний год идет ей семнадцатая весна. Вот она и говорит:

— Гребостно мне с вами, батя, за одним столом исть. Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы братов побили; и с души рвать меня тянет...

А этого она, сучка, не понимает, через кого все так поделалось? Да все через них же, через детей!

Женился я молодым; баба мне попалась плодющая, восьмерых голопузых нажеребила, а на девятом скопытилась. Родить-то родила, только на пятый день в домовину убралась от горячки... Остался я один, будто кулик на болоте, а детишек ни одного бог не убрал, как ни упрашивал... Самый старший Иван был... На меня похожий, чернявый собой и с лица хорош... Красивый был казак и на работу совестливый. Другой был у меня сынок четырьмя годами моложе Ивана. Энтот в матерю зародился: ростом низенький, тушистый, волосы русявые, ажник белесые, а глаза карие, и был он у меня самый коханый, самый желанный. Данилой звали его... Остальные семеро ртов — девки и ребятенки малые. Выдал я Ивана в зятья на своем же хуторе, и вскорости родилось дите у него. Данилу тоже было счинался женить, но тут наступило смутное время. Получи-

лось у нас в станице противу Советской власти восстание! Прибегает на другой день ко мне Иван.

— Давайте,— говорит,— батя, уходить к красным. Христом-богом прошу вас! Нам нужно ихнюю сторону одерживать затем, что власть до крайности справедливая.

Данила тоже в это самое уперся. Долго они меня сманывали, но я им так сказал:

— Вас я не приневоливаю, идите, а я никуда не пойду. У меня, окромя вас,— семеро по лавкам, и каждый рот куска просит!

С тем они и скрылись с хутора, а станица наша вооружилась чем попадя, и меня под белы руки и на фронт.

На сходе говорил я:

— Господа старики, всем вам известно, что я человек семейный. Семерых детишек имею. Ну, как ухлопают меня, кто тогда будет семью мою оправдывать?

Я так, я сяк — нет!.. Безо всяких вниманиев сгребли и отправили на фронт.

Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот, дело это было под пасху, пригоняют в хутор девять человек пленных, и Данилушка — голубь мой любый — с ними... Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу высыпали, шумят:

— Побить их, гадов! Как выведут с допроса — крой в нашу силу!..

Стою я промеж них, колени у меня трясутся, но видимости не подаю, что жалко мне сына, Данилушку-то... Поведу глазами этак в сторону, вижу — шепчутся казаки и головами на меня кивают... Подошел ко мне вахмистр Аркашка, спрашивает:

— Ты что же, Микишара, будешь коммунов бить?

— Буду, злодеев таких-сяких!..

— Ну, нá тебе штык и становись на крыльцо.— Дает мне штык, а сам ощеряется:— Примечаем мы за тобой, Микишара... Гляди — плохо будет.

Стал я на порожках, думаю: «Матерь пречистая, неужто я сына буду убивать?»

Слышу у сотенного крик. Вывели пленных, а попереди Данила мой... Глянул я на него, и захолодала у меня душа... Голова у него вспухла, как ведро,— будто освежеванная... Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтоб не по голому месту били... Кровью напитались они и к волосам присохли... Это их дорогой к хутору били... Идет он по сенцам, качается. Глянул на меня, руки протянул... Хочет улыбнуться, а глаза в синих подтеках, и один кровью заплыл...

Понял я тут: ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные, останутся малые дети горькими сиротами... Поравнялся он со мной.

— Батя,— говорит,— родной мой, прощай!..

Слезы у него кровь по щекам смывают, а я... насилу руку поднял... будто окостенел... В кулаке у меня штык зажатый. Вдарил

я его тем концом, какой на винтовку надевается. В это место вдарил, повыше уха... Он как крикнет,— ой!— заслонил лицо ладонями и упал с порожек... Казаки гогочут:

— Омочай их, Микишара! Ты, видно, прижеливаешь свово Данилку!.. Бей, а то тебе кровицу пустим!..

Сотенный вышел на крыльцо, сам ругается, а в глазах — смех... Как начали их штыками пороть, у меня душа замутилась. Кинулся я в уличку бежать, глянул в сторону — увидал, как Данилушку мово по земле катают. Воткнул ему вахмистр штык в горло, а он только — кррр.

Внизу под напором воды хрустнули доски парома, слышно было, как хлынула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела. Микишара потрогал ногою вздыбившуюся корму, сказал, выбивая из трубки желтую метелицу искр:

— Утопает наш паром, завтра придется до полудня дневалить на вербе. Вот случай какой выпал!..

Долго молчал, потом, понижая голос, глухо заговорил:

— Меня за энто дело в старшие урядники произвели...

Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночьми иной раз слышу, как будто кто хрипит, захлебывается... Тогда, как бежал, слышал Данилушкин-то хрип... Вот она, совесть, и убивает...

До весны держали мы фронт против красных, потом соединился с нами генерал Секретёв, и погнали красных за Дон, в Саратовскую губернию. Я — человек семейный, а от службы никакого послабления не дали, потому что сыны в большевиках. Дошли мы до города Балашова. Про Ивана — сына старшего — ни слуху ни духу. Как прознали казаки — чума их ведает, что Иван от красных перешел и служит в тридцать шестой казачьей батарее. Грозились хуторные: «Ежели найдем где Ваньку, душу вынем».

Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там...

Нашли мово Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили казаки и сказали мне:

— Гони его в штаб полка!

Штаб стоял верстах в двенадцати от этой деревни. Дает сотенный мне бумагу и говорит, а сам в глаза не глядит:

— Вот тебе, Микишара, бумага. Гони сына в штаб: с тобой надежней, от отца он не убежит!..

И вразумил тут меня господь. Догадался я: к тому они меня в конвой назначают, думают, что пущу я сына на волю, опосля и его словят, и меня убьют...

Прихожу я в ту хату, где содержали Ивана под арестом, говорю страже:

— Давайте арестованного, я его погоню в штаб.

— Бери,— говорят,— нам не жалко!..

Накинул Иван шинель внапашку, а шапку покрутил, покрутил в руках и кинул на лавку. Вышли мы с ним за деревню на бугор, он молчит, и я молчу. Поглядываю назад, хочу приметить, не следят ли нас. Только дошли мы до полпутя, часовенку минули, а позаду

никого не видно. Тут Иван обернулся ко мне и говорит жалостно так:

— Батя, все одно в штабе меня убьют, на смерть ты меня гонишь! Неужто совесть твоя досель спит?

— Нет,— говорю,— Ваня, не спит совесть!

— А не жалко тебе меня?

— Жалко, сынок, сердце тоскует смертно...

— А коли жалко — пусти меня... Не нажился я на белом свете!

Упал посередь дороги и в землю мне поклонился до трех раз. Я ему и говорю на это:

— Дойдем до яров, сынок, ты беги, а я для видимости вслед тебе стрельну раза два...

И вот поди ж ты, малюсеньким был — и то слова ласкового, бывало, не добьешься, а тут кинулся ко мне и руки целует... Прошли мы с ним версты две, он молчит, и я молчу. Подошли к ярам, он приостановился.

— Ну, батя, давай попрощаемся! Доведется живым остаться, до смерти буду тебя покоить, слова ты от меня грубого не услышишь...

Обнимает он меня, а у меня сердце кровью обливается.

— Беги, сынок!— говорю ему.

Побег он к ярам, все оглядается и рукой мне махает.

Отпустил я его сажен на двадцать, потом винтовку снял, стал на колено, чтоб рука не дрогнула, и вдарил в него... в зад...

Микишара долго доставал кисет, долго высекал кресалом огня, закуривал, плямкая губами. В пригоршне рдел трут, на лице паромщика двигались скулы, а из-под напухших век косые глаза глядели жестко и нераскаянно.

— Ну вот... Подсигнул он вверх, сгоряча пробег сажен восемь, руками за живот хватается, ко мне обернулся:

— Батя, за что?!— и упал, ногами задрыгал.

Бегу к нему, нагнулся, а он глаза под лоб закатил, и на губах пузырями кровь. Я думал — помирает, но он сразу привстал и говорит, а сам руку мою рукой лапает:

— Батя, у меня ить дите и жена...

Голову уронил набок, опять упал. Пальцами зажимает ранку, но где же там... Кровь-то так скрозь пальцев и хлобыщет... Закряхтел, лег на спину, строго на меня глядит, а язык уж костенеет... Хочет что-то сказать, а сам все: «Батя... ба... ба... тя...» Слеза у меня пошла из глаз, и стал я ему говорить:

— Прими ты, Ванюшка, за меня мученский венец. У тебя — жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил я тебя — меня б убили казаки, дети пó миру пошли бы христарадничать...

Немножко он полежал и помер, а руку мою в руке держит... Снял я с него шинель и ботинки, накрыл ему лицо утиркой и пошел назад в деревню...

Вот ты и рассуди нас, добрый человек! Я за детей за этих сколь-

ко горя перенес, седой волос всего обметал. Кусок им зарабатываю, ни днем, ни ночью спокою не вижу, а они... к примеру, хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит: «Гребостно с вами, батя, за одним столом исть».

Как мне возможно это теперича переносить?

Свесив голову, глядит на меня паромщик Микишара тяжким, стоячим взглядом; за спиной его кучерявится мутный рассвет. На правом берегу, в черной копне кудлатых тополей, утиное кряканье переплетается с простуженным и сонным криком:

— Ми-ки-ша-ра-а! Шо-о-орт!.. Па-ром го-ни-и-и...

1925

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Республика наша не особо громадная — всего-навсего дворов с сотню, и помещается она от станицы верст за сорок по Топкой балке.

В республику она превзошла таким способом: на провесне ворочаюсь я к родным куреням из армии товарища Буденного, и выбирают меня гражданы в председатели хутора за то, что имею два ордена Красных Знамени за свою доблестную храбрость под Врангелем, которые товарищ Буденный лично мне навешал и руку очень почтенно жал.

Заступил я на эту должность, и жили бы мы хутором на мирном положении, подобно всему народу, но вскорости в наших краях объявилась банда и присучилась наш хутор дотла разорять. Наедут, то коней заберут, дохлых шкапов в обмен покидают, то последний кормишко потравят.

Народишко вокруг нашего хутора — паскудный, банде оказывают предпочтение и встречают ее хлебом-солью. Увидавши такое обращение соседних хуторов с бандой, созвал я на своем хуторе сход и говорю гражданам:

— Вы меня поставили в председатели?..

— Мы.

— Ну, так я от имени всех пролетарьятов в хуторе прошу вас соблюдать свою автономию и в соседние хутора прекратить движение, затем что они — контры и нам с ними очень даже совестно одну стежку топтать... А хутор наш теперича будет прозываться не хутором, а республикой, и я, будучи вами выбранный, назначаю себя председателем Реввоенсовета республики и объявляю осадное кругом положение.

Какие несознательные — помалкивают, а молодые казаки, побывавшие в Красноармии, сказали:

— В добрый час!.. Без голосования!..

Тут начал я им речь говорить:

— Давайте, товарищи, подсобим Советской нашей власти и вступим с бандой в сражение до последней капли крови, потому что она есть гидра и в корне, подлюка, подгрызает всеобчую социализму!..

Старики, находясь позаду людей, сначала супротивничали, но я матерно их агитировал, и все со мной согласились, что Советская власть есть мать наша кормилица и за ейный подол должны мы все категорически держаться.

Написали сходом бумагу и в станишный исполком, чтоб выдали нам винтовки и патроны, и нарядили ехать в станицу меня и секлетаря Никона.

Раненько на зорьке запрягаю свою кобыленку, и едем. Верст десять покрыли, в лог съезжаем, и вижу я: ветер пыльцу схватывает по дороге, а за пыльцой пятеро верховых навстречу бегут.

Затосковало тут у меня в середке. Догадываюсь, что скачут злые враги из этой самой банды.

Никакой инициативы с секлетарем мы не придумали, да и придумать было невозможно: потому — степь кругом легла, до срамоты растелешенная, ни тебе кустика, ни тебе ярка либо балочки,— и остановили мы кобылу посередь путя...

Оружия при нас не было, и были мы безобидные, как спеленатое дитя, а скакать от конных было бы очень даже глупо.

Секлетарь мой — напужанный этими злыми врагами, и стало ему очень плохо. Вижу, прицеляется сигать с повозки и бечь! А куда бечь, и сам не знает. Говорю я ему:

— Ты, Никон, прищеми хвост и не рыпайся! Я председатель Ревсовета, а ты при мне секлетарь, то должны мы с тобой и смерть в куче принимать!..

Но он, как несознательный, сигнул с повозки и пошел щелкать по степу, то есть до того шибко, что как будто и гончими не догнать, а на самом деле конные, увидамши такое бегство по степу подозрительного гражданина, припустили за ним и вскорости настигли его возле кургашка.

Я благородно слез с повозки, проглотил все неподходящие бумаги и документы, гляжу, что оно дальше будет. Только вижу, поговорили они с ним очень немножко и, сгрудившись все вместе, зачали его рубать шашками крест-накрест. Вдарился он обземь, а они карманы его обшарили, повозились возле и обратно на коней, сыпят ко мне.

Я вижу, шутки шутками, а пора уж и хвост на сторону, но ничего не попишешь — жду. Подскакивают.

Попереди атаман ихний, Фомин по прозвищу. Залохматен весь рыжей бородой, финозомия в пыле, а сам собою зверский и глазами лупает.

— Ты самый Богатырев, председатель?

— Я.

— Переказывал я тебе председательство бросить?

— Слыхал про это...

— А почему не бросаешь?..

Задает он мне подобные подлые вопросы, но виду не подает, что гневается.

Вдарился я тут в отчаянность, потому — вижу, от такого кумпанства все одно головы на плечах не унесешь.

— Потому,— отвечаю перед ним,— что я у Советской власти твердо стою на платформе, все программы до тонкости соблюдаю и с платформы этой вы меня категорически не спихнете!..

Обругал он меня непотребными словами и плетюганом с усердием секанул по голове. Валом легла у меня через весь лоб чувствительная шишка, калибром вышла с матерый огурец, какие на семена бабы оставляют...

Помял я этую шишку скрозь пальцев и говорю ему:

— Очень даже некрасиво вы зверствуете по причине вашей несознательности, но я сам гражданскую войну сломал и беспощадно уничтожил тому подобных Врангелей, два ордена от Советской власти имею, а вы для меня есть порожнее ничтожество, и я вас в упор не вижу!..

Тут он до трех раз разлетался, желал конем меня стоптать и плетью сек, но я остался непоколебимый на своих подстановках, как и вся наша пролетаровская власть, только конь копытом расшиб мне колено и в ушах от таких стычек гудел нехороший трезвон.

— Иди передом!..

Гонят они меня к кургашку, а возле того кургашка лежит мой Никон, весь кровью подплыл. Слез один из них с седла и обернул его кверху животом.

— Гляди,— говорит мне,— мы и тебя зараз покоховалим, как твово секлетаря, ежели не отступишься от Советской власти!..

Штаны и исподники у Никона были спущенные ниже и половой вопрос весь шашками порубанный до безобразности. Больно мне стало глядеть на такое измывание, отвернулся, а Фомин ощеряется:

— Ты не вороти нос! Тебя в точности так оборудуем и хутор ваш закоснелый коммунистический ясным огнем запалим с четырех концов!..

Я на слова горячий, невтерпеж мне стало переносить, и отвечаю им очень жестоко:

— По мне пущай кукушка в леваде поплачет, а что касаемо нашего хутора, то он не один, окромя его, по России их больше тыщи имеются!

Достал я кисет, высек огня кресалом, закурил, а Фомин коня поводьями трогает, на меня наезжает и говорит:

— Дай, браток, закурить! У тебя табачишко есть, а мы вторую неделю бедствуем, конский помет курим, а за это не будем мы тебя казнить, зарубим, как в честном бою, и семье твоей перекажем,

чтоб забрали тебя похоронить... Да поживей, а то нам время не терпит!..

Я кисет-то в руке держу, и обидно мне стало до горечи, что табак, рощенный на моем огороде, и донник пахучий, на земле советской коханный, будут курить такие злостные паразиты. Глянул на них, а они все опасаются до крайности, что развею я по ветру табак. Протянул Фомин с седла руку за кисетом, а она у него в дрожание превзошла.

Но я так и сработал, вытряхнул на воздух табак и сказал:

— Убивайте, как промеж себя располагаете. Мне от казацкой шашки смерть принять, вам, голуби, беспременно на колодезных журавлях резвиться, одна мода!..

Начали они меня очень хладнокровно рубать, и упал я на сыру землю. Фомин из нагана вдарил два раза, грудь мне и ногу прострелил, но тут услыхал я со шляха:

Пуць!.. Пуць!..

Пули заюжали круг нас, по бурьянку шуршат. Смелись мои убивцы и — ходу! Вижу, по шляху милиция станишная пылит. Вскочил я сгоряча, пробег сажен пятнадцать, а кровь глаза застит и кругом-кругом из-под ног катится земля.

Помню, закричал:

— Братцы, товарищи, не дайте пропасть!

И потух в глазах белый свет...

Два месяца пролежал колодой, язык отнялся, память отшибло. Пришел в самочувствие — лап, а левая нога в отсутствии: отрезана по причине антонова огня...

Возвернулся домой из окружной больницы, чикиляю как-то на костыле возле завалинки, а во двор едет станишный военком и, не здороваясь, допрашивается:

— Ты почему прозывался председателем Реввоенсовета и республику объявил на хуторе? Ты знаешь, что у нас одна республика? По какой причине автономию заводил?!

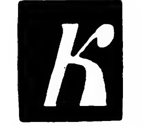
Только я ему на это очень даже ответил:

— Прошу вас, товарищ, тут не сурьезничать, а засчет республики могу объяснять: была она по случаю банды, а теперича, при мирном обхождении, называется хутором Топчанским. Но поимейте себе в виду: ежели на Советскую власть обратно получится нападение белых гидров и прочих сволочей, то мы из каждого хутора сумеемся сделать крепость и республику, стариков и парнишек на коней посажаем, и я хотя и потерявши одну ногу, а первый категорически пойду проливать кровь.

Нечем ему было супротив меня крыть, и, руку мне пожавши очень крепко, уехал он тем следом обратно.

1925

КРИВАЯ СТЕЖКА



Как будто совсем недавно была Нюрка неуклюжей разлапистой девчонкой. Ходила вразвалку, косо переступая ногами, нескладно помахивала длинными руками; при встрече с чужими сторонилась и глядела из-под платка чернявыми глазами смущенно и диковато. А теперь перешла Ваське дорогу статная грудастая девка, на ходу глянула прямо, чуть-чуть улыбчиво, и словно ветром теплым весенним пахнуло Ваське в лицо.

На миг зажмурился, потом глянул вслед, проводил глазами до поворота и тронул коня рысью. Уже на водопое, разнуздывая коня, улыбнулся, вспоминая встречу. Почему-то стояли перед глазами Нюркины руки, уверенно и мягко обнимающие цветастое коромысло, и зеленые ведра, качающиеся в такт шагам. С этой поры искал встречи с ней, к речке ездил нарочно по крайней улице, где был двор Нюркиного отца, и когда видел ее за плетнем или в просвете окна, то радость тепло тлела в груди; натягивал поводья, стараясь замедлить лошадиный шаг.

На той неделе в пятницу поехал на луг верхом — поглядеть на сено. После дождя дымилось оно и сладко попахивало прелью. Возле Авдеевых копен увидел Нюрку. Шла она, подобрав подол юбки, хворостиной помахивала. Подъехал.

— Здорово, раскрасавица!

— Здорово, коль не шутишь.— И улыбнулась.

Соскочил с коня Васька, поводья бросил.

— Чего ищешь, Нюра?

— Телок запропастился... Не видал ли где?

— Табун давно прошел в станицу, а вашего телка не примечал.

Достал кисет, свернул «козью ножку». Слюнявя газетный клочок, спросил:

— Когда ты успела, девка, вымахать такой здоровой? Давно ли в пятишки на песке игралась, а теперь — ишь...

Улыбкой прижмурились Нюркины глаза. Ответила:

— Что нам делается, Василий Тимофеевич. Вот и ты вроде как недавно без штанов бегал в степь скворцов сымать, а теперь уж в хате небось головой за перекладину цепляешься...

— Что ж замуж-то не выходишь?— Зажег Васька спичку, чадно дымнул самосадом.

Нюрка вздохнула шутливо, руками сокрушенно развела:

— Женихов нету!

— А я чем же не жених?— Хотел улыбнуться Васька, но улыбка вышла кривая и ненужная. Вспомнил, каким выглядел он в зеркале: щеки, густо изрытые давнишней оспой, чуб курчавый, разбойничий, низко упавший на лоб.

— Рябоват вот ты маленечко, а то бы всем ничего...

— С лица тебе не воду пить...— багровея, уронил Васька.

Нюрка улыбнулась чуть приметно, помахивая хворостиной, сказала:

— И то справедливо!.. Что ж, ежели нравлюсь — сватов засылай.

Повернулась и пошла к станице, а Васька долго сидел под копною, растирал промеж ладоней приторную листву любистика, думал: «Смеется, стерва, аль нет?»

От речки, из лесу, потянуло знобким холодком.

Туман, низко пригибаясь, вился над скошенной травой, лапал пухлыми седыми щупальцами колючие стебли, по-бабьи кутал курившиеся паром копны. За тремя тополями, куда зашло на ночь солнце, небо цвело шиповником, и крутые вздыбленные облака казались увядшими лепестками.

* * *

У Васьки семья — мать да сестра. Хата на краю станицы крепко и осанисто вросла в землю, подворье небольшое. Лошадь с коровой — вот и все имущество. Бедно жил отец Васьки.

Вот поэтому-то в воскресенье, покрываясь цветной в разводах шалью, сказала мать Ваське:

— Я, сыночек, не прочь. Нюрка — девка работящая и собой не глупая, только живем мы бедно, не отдаст ее за тебя отец... Знаешь, какой норов у Осипа?

Васька, надевая сапоги, промолчал, лишь щеки набухли краской. То ли от натуги (сапог больно тесен), то ли еще от чего.

Мать кончиком шали вытерла сухие, бледные губы, сказала:

— Я схожу, Вася, к Осипу, но ить страма будет, коль с крылечка выставят сваху. Смеяться по станице будут...— помолчала, не глядя на Ваську, шепнула:— Ну, я пойду.

— Иди, мамаша.— Васька встал и вяло улыбнулся.

* * *

Рукавом вытирая лоб, покрывшийся липким и теплым потом, мать Васьки сказала:

— У вас, Осип Максимович, товар, а у нас покупатель есть... Из-за этого и пришла... Как вы можете рассудить это?

Осип, сидевший на лавке, покрутил бороду и, сдувая с лавки пыль, проговорил:

— Видишь, какое дело, Тимофеевна... Я бы, может, и не прочь... Василий, он — парень для нашего хозяйства подходящий. А только выдавать мы свою девку не будем... рано ей невеститься... Ребят-то нарожать — дело немудрое!..

— Тогда уж извиняйте за беспокойствие!— Васькина мать поджала губы и, вставая с сундука, поклонилась.

— Беспокойствие пустяшное... Что ж спешишь, Тимофеевна? Может, пополудновала бы с нами?

— Нет уж... домой поспешать надо... Прощайте, Осип Максимович!..

— С богом, проваливай!— вслед хлопнувшей двери, не вставая, буркнул хозяин.

С надворья вошла Нюркина мать. Насыпая на сковородку подсолнечных семечек, спросила:

— Что приходила-то Тимофеевна?

Осип выругался и сплюнул:

— За свово рябого приходила сватать... Туда же, гнида вонючая, куда и люди!.. Нехай рубит дерево по себе!.. Тоже свашенька,— и рукой махнул,— горе!..

* * *

Кончилась уборка хлебов. Гумна, рыжие и лохматые от скирдов немолоченого жита, глядели из-за плетней выжидающе. Хозяев ждали с молотьбой, с работой, с зубарями, орущими возле молотильных машин хрипло и надсадно:

— Давай!.. Давай... Да-ва-а-ай!..

Осень приползла в дождях, в пасмурной мгле.

По утрам степь, как лошадь коростой, покрывалась туманом. Солнце, конфузливо мелькавшее за тучами, казалось жалким и беспомощным. Лишь леса, не зажженные жарою, самодовольно шелестели листьями, зелеными и упругими, как весной.

Часто один за другим длинной вереницей в скользком и противном тумане шли дожди. Дикие гуси почему-то летели с востока на запад, а скирды, осунувшиеся и покрытые коричневатой прелью, похожи были на захворавшего человека.

В предосенней дреме замирала непаханая земля. Луга цветисто зеленели отавой, но блеск их был обманчив, как румянец на щеках изъеденного чахоткой.

Лишь у Васьки буйным чертополохом цвела радость — оттого что каждый день видел Нюрку: то у речки встретятся, то вечером на игрищах. Поглупел парень, высох весь, работа в руках не держится...

И вот тут-то, днем осенним и хмарным, как-то перед вечером гармошка, раньше хныкавшая и скулившая щенком безродным, вдруг загорланила разухабисто, смехом захлебнулась...

К Ваське во двор прибежал Гришка, секретарь станичной комсомольской ячейки. Увидал его — руками машет, а улыбка обе щеки распахала пополам.

— Ты чего щеришься, железку, должно, нашел?— поддел Васька.

— Брось, дурило!.. Какая там железка...— Дух перевел, выпалил:— Нашему году в армию идти!.. На призыв через три дня!..

Ваську как колом кто по голове ломанул. Первой мыслью было: «А Нюрка как же?» Потер рукой лоб, спросил глухо:

— Чему же ты возрадовался?

Гришка брови до самых волос поднял:

— А как же? Пойдем в армию, чудак, белый свет увидим, а тут, окромя навоза, какое есть удовольствие?.. А там, брат, в армии — ученье...

Васька круто повернулся и пошел на гумно, низко повесив голову, не оглядываясь...

* * *

Ночью возле лаза через плетень в Осипов сад ждал Васька Нюрку. Пришла она поздно. Зябко куталась в отцовский зипун Подрагивала от ночной сырости.

Заглянул Васька в глаза ей, ничего не увидел. Казалось, не было глаз, и в темных порожних глазницах чернела пустота.

— Мне на службу идтить, Нюра...

— Слыхала.

— Ну, а как же ты?.. Будешь ждать меня, замуж за другого не выйдешь?..

Засмеялась Нюрка тихоньким смешком; голос и смех показались Ваське чужими, незнакомыми.

— Я тебе говорила раньше, что на отца с матерью не погляжу пойду за тебя, и пошла бы... Но теперя не пойду!.. Два года ждать, это не шуточка!.. Ты там, может, городскую сыщешь, а я буду в девках сидеть? Нету дур теперя!.. Попроси другую, может, и найдется какая, подождет...

Заикаясь и дергая головой, долго говорил Васька. Упрашивал, уверял, божился, но Нюрка с хрустом ломала в руках сухую ветку и твердо кидала Ваське в ответ одно скупое, черствое слово:

— Нет! Нет!

Под конец, озлобившись, дыша обрывисто, крикнул Васька.

— Ну, ладно, стерва!.. Мне не достанешься, а другому и подавно! А ежели выйдешь за другого — рук моих не минуешь!

— Руки-то тебе короткими сделают, не достанешь!..— пыхнула Нюрка.

— Как-нибудь дотянусь!..

Не прощаясь, прыгнул Васька через плетень и пошел по саду затаптывая в грязь желтые опавшие листья.

* * *

А утром сунул в карман полушубка краюху хлеба, в сумочку потаясь от матери, всыпал муки и пошел на квартиру к лесничему

От бессонной ночи тяжело никла голова, слезились припухшие глаза, и все тело сладко и больно ныло. Осторожно минуя лужи, подошел к крыльцу. Лесничий воду в колодце черпает.

— Ты ко мне, Василий?

— К вам, Семен Михайлыч... Хочу перед службой напоследях поохотничать.

Лесничий, перегибаясь на левый бок, подошел с ведром, прищурился.

— В это воскресенье начабанил что?

— Зайчишку одного подсек.

Вошли в хату. Лесничий поставил на лавку ведро и вынес из горницы ветхую централку. Васька, хмуро поглядывая в угол, сказал:

— Мне бы винтовку надо... Лису заприметил в Сенной балке.

— Могу и винтовку, только патронов нету.

— У меня свои.

— Тогда бери. Обратно будешь идти — зайди. Похвались!.. Ну, ни пера, ни пуху!..— улыбаясь, крикнул лесничий вслед Ваське.

* * *

Верстах в четырех от станицы, в лесу, там, где промытый весенней водой яр ветвится крутыми уступами, под вывороченной корягой в красной маслянистой глине выдолбил Васька пещерку небольшую, впору лишь волку уместиться. Жил в ней четвертые сутки.

Днем в лесу, на дне яра, теплая прохлада, запах хмельной и бодрящий: листья дубовые пахнут, загнивая. Ночью под кривыми танцующими лучами ущербленного месяца овраг кажется бездонным, где-то наверху шорохи, похрустывание веток, неясный, рождающий тревогу звук. Словно кто-то крадется над излучистой каймою оврага, заглядывая вниз. Изредка после полуночи перекликаются молодые волчата.

Днем выходил Васька из оврага, вяло передвигая ноги, шел через густой колючий терн, через голый орешник, через балки, на четверть засыпанные оранжевыми листьями. И когда сквозь чахлую завесу неопавших листьев мелькала бледно-зеленая гладь реки и за нею выбеленные кубики домов в станице, чувствовал Васька тупую боль где-то около сердца. Долго лежал на крутом берегу, скрытый порослью хвороста, смотрел, как из станицы шли бабы к речке за водой. На второй день увидал мать, хотел крикнуть, но из проулка выехала арба. Казак помахивал кнутом и глядел на речку.

В первую же ночь, как только лег на ворох сухих шуршащих листьев, глаз не сомкнул до рассвета,— думал и понял Васька, что не на ту стежку попал, на кривую. Топтать эту стежку до худого конца вместе с ребятами с большого шляха. И еще понял Васька то, что все теперь против него: и Нюрка, и ребята-одногодцы, те, что под заливистую канитель гармошки пошли в армию. Будут служить они и в нужную минуту станут на защиту Советов, а он, Васька, кого будет защищать?..

В лесу, в буреломе, затравленный, как волк на облаве, как бе-

шеная собака, умрет от пули своего же станичника он, Васька, сын пастуха и родной кровный сын бедняцкой власти.

Едва засветлел лиловой полосою восток, бросил Васька в овраге винтовку и пошел к станице, все ускоряя и ускоряя шаги:

«Пойду, объявлюсь!.. Нехай арестуют. Присудят, зато с людьми... От своих и снесу!..» — колотилась горячая до боли мысль. Добежал до речки и стал. За песком, за плетнями дворов дымились трубы, ревел скот. Страх холодными мурашками покрыл Ваське спину, дополз до пяток.

«Присудят года на три... Нет, не пойду!..»

Круто повернул и, как старый матерый лисовин от гончих, пошел по лесу, виляя и путая следы.

На шестой день кончились мука и хлеб, взятые из дому. Дождался Васька ночи, перекинул винтовку через плечо, тихо, стараясь не хрустеть валежником, дошел до речки. Спустился к броду. На песке зернистом и сыром — следы колес. Перебрел и задами дошел до Осипова гумна. Сквозь голые ветви яблонь виден был огонь в окне.

Остановился Васька, до боли захотелось увидеть Нюрку, сказать, упрек кинуть в глаза. Ведь из-за нее он стал дезертиром, из-за нее гибнет в лесу.

Перепрыгнул через прясло, миновал сад, на крыльцо взбежал, стукнул щеколдой — дверь не заперта. Вошел в сени, тепло жилья ударило и закружило голову.

Мать Нюрки месила пироги, обернулась на скрип двери и, ахнув, уронила лоток. Осип, сидевший возле стола, крякнул, а Нюрка взвизгнула и опрометью кинулась в горницу.

— Здорово живете!— просипел Васька.

— Сла... сла-ва бо-гу...— заикаясь, буркнул Осип.

Не скидая шапки, прошел Васька в горницу. Нюрка сидела на сундуке, колени ее мелко дрожали.

— Ай не рада, Нюрка? Что ж молчишь?— Васька подсел на сундук, винтовку поставил возле.

— Чему радоваться-то?— обрывисто прошептала Нюрка. И, всплеснув руками, заговорила, сдерживая слезы:— Иди, бога ради, отсюда!.. Милиция из района наехала, самогонку ищут... Найдут тебя... Иди, Васька!.. Пожалей ты меня!..

— Ты-то меня жалела? А?

* * *

Едва закрыл Васька за собой дверь, Осип мигнул жене и, косясь на горницу, откуда слышался захлебывающийся Нюркин шепот, прохрипел:

— Беги к Семену!.. Милиция у него стоит! Зови сейчас!..

Нюркина мать неслышно отворила дверь и метнулась через двор черной тенью.

* * *

Васька, трудно глотая слюну, попросил:

— Дай, Нюрка, кусок пирога... Другие сутки не ел...

Нюрка встала, но дверь из кухни порывисто распахнулась, в просвете стояла Нюркина мать с лампой, платок у нее сбился набок, на лоб свисали вспотевшие космы волос. Крикнула визгливо:

— Берите его, сукиного сына, товарищи милиция!.. Вот он!..

Из-за ее плеча глянул милиционер, хотел шагнуть в горницу, но Васька цепко ухватил винтовку, наотмашь ударил прикладом по лампе, прыжком очутился у окна, вышиб ногою раму и, выпрыгнув, грузно упал в палисаднике.

На миг лицо обжег холод. В хате визг, шум, хлопнула дверь в сенях.

Легко перемахнул Васька через плетень и, перехватив винтовку, прыжками побежал к гумну. Сзади — топот чьих-то ног, крики:

— Стой, Васька!.. Стой, стрелять буду!..

По голосу Васька узнал милиционера Прошина, на ходу скинул винтовку, оборачиваясь, не целясь, выстрелил. Сзади четко стукнул наган. Перепрыгивая гуменное прясло, Васька почувствовал, как левое плечо обожгло болью. Словно кто-то несильно ударил горячей палкой. Перемогая боль, двинул затвором, щелкнула выброшенная гильза. Загнал патрон и, целясь в мелькавшую сквозь просветы яблони первую фигуру, спустил курок.

Вслед за выстрелом услышал, как Прошин упавшим голосом негромко вскрикнул:

— Стерва... в живот... О-о-ой, больно!..

Через брод бежал, не чуя холодной воды. Сзади не часто топал второй милиционер. Оборачиваясь, Васька видел черные полы его шинели, раздутые ветром, и в руке зажатый наган. Мимо повизгивали пули...

Взобравшись на кручу, Васька послал вслед возвращавшемуся от речки милиционеру пулю, и, расстегнув ворот рубахи, приник губами к ранке. Соленую и теплую кровь сосал долго, потом пожевал комочек хрустящей на зубах земли, приложил к ранке и, чувствуя, как в горле нарастает непрошеный крик, стиснул зубы.

* * *

На другой день перед сумерками добрел до речки и залег в хворосте. Плечо вспухло багрово-синим желваком, боль притупилась, рубаха присохла к ране, было больно лишь тогда, когда двигал левой рукой.

Лежал долго, сплевывая непрестанно набегавшую слюну. В голове было пусто, как с похмелья. До тошноты хотелось есть, жевал кору, обдирая хворостинки, и, сплевывая, смотрел на зеленые комочки слюны.

С той стороны к речке подходили бабы, черпали в ведра воду и уходили, покачиваясь. Уже перед темнотой из проулка вышла баба, направляясь к речке. Васька привстал на локте, охнул от боли, неожиданно пронизавшей плечо, и злобно стиснул рукою холодный ствол винтовки.

К речке шла Нюркина мать. Пуховый платок надвинут на самые глаза. Как видно, торопится. Васька дрожащей рукой сдвинул предохранитель. Протирая глаза, вгляделся. «Ну да, это она». Такой ярко-желтой кофты, как у Нюркиной матери, не носит никто в станице.

Васька по-охотничьи поймал на мушку голову в пуховом платке.

— Получай, сучка, за то, что доказала!..

Грохнул выстрел. Баба бросила ведра и без крика побежала к дворам.

— Эх, черт!.. промах!..

Вновь на мушке запрыгала желтая кофта. После второго выстрела Нюркина мать нехотя легла на песок и свернулась калачиком.

Васька не спеша перебрел на ту сторону и, держа винтовку наперевес, подошел к подстреленной.

Нагнулся. Жарко пахну́ло женским потом. Увидал Васька распахнутую кофту и разорванный ворот рубахи. В прореху виднелся остро выпуклый розовый сосок на белой груди, а пониже — рваная рана и красное пятно крови, расцветавшее на рубахе лазоревым цветком[1].

Заглянул Васька под надвинутый на лоб платок, и прямо в глаза ему взглянули тускнеющие Нюркины глаза.

Нюрка шла в материной кофте за водой.

Поняв это, крикнул Васька и, припадая к маленькому неподвижному телу, калачиком лежавшему на земле, завыл долгим и тягучим волчьим воем. А от станицы уж бежали казаки, махая кольями, и рядом с передним бежала, вьюном вилась шершавая собачонка. Повизгивая, прыгала вокруг и все норовила лизнуть его в самую бороду.

1925

ОБИДА

По степи, приминая низкорослый, нерадостный хлеб, плыл с востока горячий суховей. Небо мертвенно чернело, горели травы, по шляхам поземкой текла седая пыль, трескалась выжженная солнцем земляная кора, и трещины, обугленные и глубокие, как

[1] Лазоревым цветком на Дону называют степной тюльпан.

на губах умирающего от жажды человека, кровоточили глубинными солеными запахами земли.

Железными копытами прошелся по хлебам шагавший с Черноморья неурожай.

В хуторе Дубровинском жили люди до нови. Ждали, томились, глядя на застекленную синь неба, на иглистое солнце, похожее на усатый колос пшеницы-гирьки в колючем ободе усиков-лучей.

Надежда выгорела вместе с хлебом.

В августе начали обдирать кору с караичей и дубов, мололи и ели, примешивая на лоток дубового теста пригоршню просяной муки.

Перед покровом Степан, падая от истощения, пригнал быков на свой участок земли, запряг их в плуг, в му́ке скаля зубы, кусая синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чапиги[1].

Четыре десятины пахал неделю. Кривые и страшные выложились борозды, мелкие, с коричневыми шмотками огрехов, словно не лемехи резали затравевшую пашню, а чьи-то скрюченные, слабые пальцы...

Оттого Степан шел с поклоном к вероломной земле, что была кроме старухи семья — восемь ртов, оставшихся от сына, убитого в гражданскую войну, а работников — сам с пятью десятками лет, повиснувших на сутулой спине. Отпахался — продал вторую пару быков. Не продал, а подарил доброму человеку за сорок пудов сорного хлеба.

И вот тут-то вскоре после покрова объявил председатель хуторского Совета:

— Семенную ссуду выдадут. Заосеняет, подойдет с центра бумага — и на станцию. Кто не пахал — паши! Хучь зубами грызи, а подымай землю.

— Обман. Не дадут...— сопели казаки.

— Предписание есть. Все, как следовает, без хитростев.

— С нас тянут, а давать...— томился в тоске и радости Степан. И верил и не верил.

Сошла осень. Засыпало хутор снегом. На обезлюдевших огородах легли заячьи стежки.

— Что же, семенов дадут?..— надоедал Степан председателю. Тот озлобленно махал рукой:

— Не вяжись, Степан Прокофич! Нету покеда распоряженья.

— И не будет! Не жди!.. Надо было народ от смерти отвесть — обнадежили... Кинули, как собаке мосол.— И люто тряс мословатыми кулаками:— Пропади они, сссу-у-укины сыны!.. Хлеб в городах жрут, мать ихня...

— Не выражайся, Прокофич. Пришкребу за слова!

— Эх!..— махал Степан рукой и, не договаривая, уносил из Совета большое свое костистое тело. Был он похож на перехворавшего быка: из-под излатанного чекменя перли наружу крупные костяки лопаток, на длинных, высохших голенях болтались изо-

[1] Чапиги — поручни у плуга.

рванные, с лампасами шаровары. Зеленая проседь запорошила рыжую его бороду, глядел голодным, задичалым взглядом в сторону, стыдился за свое непомерно крупное, высохшее в палку тело. Приходил домой, падал на лавку.

— Скотину убери. Лег, сурчина!— липла жена.

— Варька намечет.

— Ей на баз не в чем выйтить.

— Нехай мои валенки обувает.

Подросток Варька стягивала с деда валенки и шла убирать скотину, а он лежал, косо расставив длинные босые ступни, часто дергал веками закрытых глаз, вздыхал, кряхтел, думал тягучее и безрадостное. А за обедом садился в передний угол, высился над столом ребристой громадиной, цепко оглядывал усыпавших лавки внуков. Замечал, что самый младший, трехлеток Тимошка, кривит душой — мучительно улыбаясь, старается поймать в чашке уплывающий кусочек картошки,— и звонко стукал его по лбу ложкой.

— Не вы-лав-ли-вай!..

В хуторе мерли люди, источенные, как дерево червем, дубовым хлебом. И черная будила Степана по ночам тоска: вспаханное обсеменить нечем.

Скот обесценел. За корову давали пять — восемь пудов жита с озадками. На святках опять заговорили об отпущенной будто бы семенной ссуде, и опять заглох слух. Заглох, как летник в степи глубокой осенью. Ожил только на провесне. Вечером на собрании в церковной караулке председатель объявил:

— Получена бумага.— Помял пальцами горло, кончил:— Могем ехать за хлебом хучь завтра. Об нас, то же самое, не забывают...— и осекся от волнения.

* * *

До станции от хутора полтораста верст. Разбились на партии с первой же ночевки. На лошадях уехали вперед, бычиные подводы рассыпались длинной валкой. Степан ехал с соседом Афонькой — молодым, москлявым казаком. Дорога легла через тавричанские слободы. Гребни верст в тридцать — сорок одолевали только к ночи. Тощие от бескормицы быки шли, скупо отмеряя шаги, прислоняясь ребристыми боками к ви́ям[1].

Степан всю дорогу шел пешком, берег бычачью силу для обратного пути. С последней ночевки в Ольховом Рогу выехали, дождавшись месяца, и к полдню дотянулись до станции.

Возле элеватора с визгом дрались распряженные лошади, ревели быки, плелись многоголосые крики.

К вечеру из ворот элеваторного двора выбежал запыленный весовщик, крикнул, оглядывая возы:

— Дубровинцы, подъезжай! Председатель где?

[1] Виё — дышло в бычачьей запряжке.

— Здеся,— по-служивски гаркнул председатель.

— Ордер при вас?

— Так точно, при нас.

Пока приехавшие раньше запрягали, Степан с Афонькой пробились к самым воротам. Поперек дороги большой черный казак в атаманской фуражке и накинутом поверх зипуна башлыке, упрашивал мотавшего головой быка:

— Ше, ше, чертяка... Тпру... тпру, го-о-оф... Стой!..

— Посторонись, станишник,— попросил Степан.

— Небось объедешь.

— Иде ж тут объедешь! Ить обломаемся!

— Сани оттяни!— крикнул Афонька.— Стал вспоперек путя, как чирьяк на причинном месте... Эй, дядюля!..

Атаманец[1] здоровенной кулачиной саданул норовистого быка, и тот, выкатывая кровяные глаза, просунул морщинистую шею в ярмо.

— Подъезжай... Подъезжа-а-ай!..— орал весовщик, размахивая ордером у дверей весовой.

Степан направил быков рысью и первый подкатил к весовой.

По обшитому железом рукаву тек в мешки золотой, шуршащий поток пшеницы. Степан держал края мешка, задыхался от пахучей теплой пыли и радости, с удивлением глядел на бесстрастное лицо весовщика, равнодушно хрустевшего сапогами по рассыпанному зерну.

— Свешено. Двадцать один пуд.

Попробовал Степан, как раньше, тряхнув лопатками, вскинуть пятипудовый чувал повыше и неожиданно почувствовал неудержимую дрожь в коленях, качнулся, сделал два неверных, ковыляющих шага и прислонился к дверям.

— Проходи!.. Застрял!..— торопили толпившиеся у выхода казаки.

— Отощшал, дядя.

— У него уж порохня отсырела.

— Держись за землю, а то упадешь!

— Го-го-го-го!..

— Кидай мешок, я подыму, мне сгодится.

Атаманец, запрягавший у ворот быков, пособил Степану перетаскать на воз мешки, и Степан, дождавшись Афоньку, выехал на площадь. Смеркалось.

— Иди просись ночевать,— предложил иззябший Афонька.

— А ты что ж?

— У тебя, Прокофич, борода. Ты собою — наглядней.

Улицу прошел Степан — и ни в одном дворе не пустили.

— Вас тут каждый день бывает.

— Негде. Тесно.

— [illegible] ночуете и на улице.

Степан, с трудом ворочая одубевшими губами, упрашивал:

---

[1] Атаманец — казак, служивший в лейб-гвардии Атаманском полку.

— Пустите, аль место перележим? Неуж креста на вас нету?..

— Ноне без крестов живем, с жестянками.

— Проходи, дед,— отмахивались от него.

Степан вышел из крайнего двора и ожесточенно стукнул кнутом неповинного быка.

— Вот, Афанасий, люди... Ночевать, видно, под забором.

— Запалить ба их с четырех концов! Бирюки, а не люди!.. У них снегу середь зимы не выпросишь!

На элеваторной площади распрягли быков и под рев паровозных гудков легли на санях, набитых мешками. Площадь гомонила. Молодые казаки, собравшись на крайнем возу, складно играли песни. Сиповатым, но сильным голосом один какой-то заводил:

Ехали казаченьки
Да со службы домой.

И огрубелые от ветра и стужи голоса подхватывали:

На плечах погоники,
На грудях кресты-ы-ы...

Степан, прислушиваясь к песне, недоверчиво щупал завязанные чубы тугих мешков, и перед закрытыми глазами его стлалась вспаханная черная деляна, там, у Атаманова кургана, и он, Степан, мечущий из горсти полновесное семя...

* * *

В полночь с севера подул жесткий ветер. На крышах вагонов, прибывших из Москвы, хрусталем отсвечивал снег, а возле путей оголенная ростепелью земля чернела, пахла осенью, первыми заморозками, стынущим шлаком.

Над городом мутно-розовой квадратной глыбой висел элеватор. У дощатого забора понуро жались быки, на площади ветер вихрил морозную пыль, застревая в телеграфных проводах, скулил пронзительно и тонко.

Под конец ночи, когда дышло Большой Медведицы воткнулось в плоскую крышу элеватора, Степан проснулся. Поворочал онемевшими ногами и встал с саней. Около лежали, тяжело вздыхая, обыневшие быки, взвороченными копнами чернели возы, зябко горбилась бездомная собака.

Степан разбудил Афоньку. Запрягли и в густеющей предрассветной темноте выехали за город.

Поднялись на гору. Над городом взвыл паровоз. Афонька, шагавший рядом с Степаном, махнул назад кнутовищем.

— Ну и ржет, проклятый жеребец! Он на себе по скольки тыщев пудов тягает и хучь бы крякнул. А тут навалил двадцать

пудов и страдай пешком всю дорогу. У тебя хучь быки, а у меня ить справа какая: бычок-третяк да корова. Ты ее кнутом, а она, подлюка, хвост на сторону и тебя же норовит обпакостить... Ходи, барышня городская!..— Вывернув опухшие, в желчной мути глаза, он с силой хлестнул кнутом корову и упал в сани, высоко задирая ноги.

В полдень доехали до Ольхового Рога. По улицам пестрел празднично одетый народ. Тут только вспомнил Степан, что нынче воскресенье. Доехали до церкви и стали.

— Ну, на бугор не выберемся... Ишь дорога голая.

— Почти что...— согласился Афонька.— Пески, снегу нет.

— Придется поднанять, чтоб вывезли до гребня на бричке.

— Хлебом заплотим, говори.

На сложенных возле двора слегах в праздничной дреме человек восемь тавричан лузгали семечки. Степан подошел и снял косматую папаху.

— Здорово живете, добрые люди.

— Здравствуй соби,— ответил самый старший, с проседью в бороде.

— А что, не найметесь вывезть нам кладу на бугор? Пески тута у вас, снегу на мáле, а мы вот на санях забились...

— Ни,— коротко кинул тавричанин, усыпая бороду шелухой.

— Мы заплотим. Ради Христа, вызвольте!

— Коней немá.

— Что ж, люди добрые, аль нам пропадать?— взмолился Степан, разводя руками.

— Та мы не могим знать,— равнодушно откликнулся другой, в заячьем треухе.

Помолчали. Подошел Афонька, выгибаясь в поклоне.

— Сделайте уваженье!

— Та ни. Це треба худобу морыть.

Молодой, рослый тавричанин в добротном морщеном полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу:

— Вот шо, дядько: давайте з вами боркá встроим. Колы вы мине придолиете — пидвезу на бугор, а ни — так ни. Ну, як?— Серые, круглые глаза его смеялись, плавали в масленом румянце щек.

Степан оглядел улыбавшихся тавричан и надел папаху.

— Что ж, братцы, значит, надсмешка... Чужая беда, видно, за сердце не кусает.

— Давай спробуем!— смеялся молодой тавричанин, играя из-под смушковой шапки бровями.

Степан скинул рукавицы и оглядел широкие плечи противника, распиравшие полушубок.

— Берись!

— Оцé — дило!..

Взялись на поясах. Просовывая пальцы под красный Степанов кушак, весело и легко дыша, тавричанин попросил:

— Пузо пидбери.

Медленно закружились, пытая силы. Степан, сузив глаза, выворачивал плечо, упираясь противнику в грудь. Тот далеко назад заносил ногу, подтягивал на себя Степана, ломал. Обошли круга три. Степан чувствовал, что молодой, сытый тавричанин его сильнее, и вел борьбу тоскливо, уверенный в исходе.

Решившись, пригнул колено левой ноги и рухнул навзничь, больно ударившись затылком о мерзлую кочку. Тавричанин, подкинутый Степановыми ногами, перелетел через него, грузно жмякнулся. Степан хотел вскочить по-молодому, как когда-то, но ноги отказались, а на него уж навалился вскочивший тавричанин, вдавил ему лопатки в выщербленный лошадиными копытами снег на дороге.

Их обступили. Загоготали. Захлопали рукавицами. Степан, выколачивая измазанную папаху, вздохнул:

— Десяток годков скинуть ба, я б тебя повозил...

— Но, дядько, так и быть, пидвезу вас на бугор. Ты заробил соби,— задыхаясь, довольно смеялся тавричанин.— Поняйте ось к тому двору.

Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щелкнул на тройку сытых лошадей щегольским кнутом.

— Поняйте слидом.

На бугре, верстах в четырех от слободы, хлеб перегрузили на сани. По дороге завиднелся снег, кое-где перерезанный перетяжками.

* * *

Тяжелая дорога вымотала быков. За санями по мерзлой земле захлюстанным бабьим подолом волочился сверкающий, притертый полозьями след.

До хутора оставалось верст тридцать. Степан предложил Афоньке:

— Давай ехать. Хучь ночью, а дотянем.

— Не из чего ночевать, корму клока нет, быков лишь томить.

К ночи доехали до Казенного леса. На небе, ясном и черном, сухо тлела, дымилась ядреная россыпь звезд. Морозило. Степан ехал впереди. Спустились в ложок. Впереди быков легла косая тень, следом вышел человек.

— Кто едет?

— С станции, дубровинские,— насторожился Степан и оглянулся на подходившего Афоньку.

— Стой!

— По какому праву?..

— Стой, тебе говорят!..

Небольшой, укутанный башлыком, подошел человек. Синел, поблескивал в перчатке вороненый наган.

— Што везете?

— Хлеб семенной...— У Степана дрогнуло сердце, дрогнул голос. Кинув в сторону взгляд, увидел подъезжавшую сбоку бричку, запряженную четверкой. Человек в башлыке подошел к Степану вплотную, ткнул ему под папаху мерзлую, запотевшую сталь.

— Сгружай!..

— Что ж это?..— охнул Степан, обессиленно прислонясь к саням.

— Сгружай!..

От брички, скрипя сапогами, бежали двое.

— Стреляй его!..— крикнул один издали. Рукоять нагана рассекла край папахи и въелась Степану в висок. Он сполз на колени.

— Сгру-жа-а-ай!— осатанело орал, наклоняясь к нему, человек в башлыке и тыкал стволом нагана в зубы.

— Семенной хлеб... Братцы!.. Родненькие, братцы!.. А-а-а,— рыдал Степан и ползал на коленях, кровяня ладони о мерзлую колость дороги.

Афоньку первый, бежавший от брички, свалил с ног прикладом винтовки, кинул на него полость от саней.

— Лежи, не зи́ркай!..

Бричка прогремела и стала около саней. Двое, кряхтя, кидали в нее мешки, третий в башлыке стоял над Степаном. Из-под нависших реденьких усов скалил щербатый, обыневший рот.

— Полость возьми,— приказал четвертый, сидевший на козлах.

Быки легко стронули опорожненные сани, пошли по дороге. Афонька подошел к лежавшему ничком Степану.

— Вставай, уехали...

По целине, обочь дороги, немо цокотали колеса уезжавшей брички. Степан встал, глотнул набежавшую в рот кровь. Вдали чернела бричка. Немного погодя с перекатом сполз в ложок треск одинокого, на острастку, выстрела.

— Вот она какая судьбина... пала...— глухо уронил Афонька и, ломая в руках кнутовище, стенящим голосом крикнул:— Обидели!..

Степан поднялся с земли, взлохмаченный и страшный, медленно закружился в голубом леденистом свете месяца. Афонька, сгорбившись, глядел на него, и всплыло перед глазами: прошлой зимой застрелил на засаде волка, и тот, с картечью, застрявшей в размозженной глазнице, так же страшно кружился у гуменного плетня, стрял в рыхлом снегу, приседая на задние ноги, умирая в немой, безголосой смерти...

* * *

На четвертой неделе поста хутор выехал сеять.

Степан сидел у крыльца, чертил хворостинкой отмякшую, вязкую землю, исступленно ласкал ее провалившимися в черное глазами...

Неделю ходил он, посеревший и немой. Семья, голосившая первые дни приезда, притухла, с тоской и страхом глядела на трясущуюся голову Степана, на обесссилевшие его руки, бесцельно перебиравшие складки рыжей бороды. На страстной неделе в первый раз ушел он ночью к Атаманову кургану. Степь, выложенная серебряным лунным набором, курилась туманной марью. В прошлогоднем бурьяне истомно верещала необгулянная зайчиха, с шелестом прямилась трава-старюка, распираемая ростками молодняка. Низко тянулись редкие тучи, застили молодой месяц, и процеженные сквозь облачное решето лучи неслышно щупали квелые, сонные травы. Степан не дошел до своей земли сажен двадцать и стал под Атамановым курганом.

По ту сторону лежала вспаханная, обманутая им земля. Меж бороздами ютился прораставший краснобыл, заплетала поднятый чернозем буйная повитель. Страшно было Степану выйти из-за кургана, взглянуть на черную, распластанную трупом пахоту. Постоял, опустив руки, шевеля пальцами, вздохнул и хрипом оборвал вздох...

С той поры почти каждую ночь уходил, никем не замеченный, из дома. Подходил к кургану и жесткой ладонью комкал на груди рубаху. А вспаханная деляна лежала за курганом мертвенно-черная, залохматевшая травами, и ветер сушил на ней комья пахоты и качал ветвистый донник...

* * *

Перед троицей начался степной покос. Степан сложился косить с Афонькой. Выехали в степь, и в первую же ночь ушли с попаса Степановы быки.

Искали сутки. Вдоль и поперек прошли станичный отвод, оглядели все яры и балки. Не осталось на погляд и следа бычиного. Степан к вечеру вернулся домой, накинул зипун и стал у двери, не поворачивая головы.

— Пойду в хохлачьи слободы. Ежели увели,— туда.

— Сухариков... Сухариков бы на дорожку...— засуетилась старуха.

— Пойду,— поморщился Степан и вышел, широко размахивая костылем, ссекая метелки полыни.

За хутором повстречался с Афонькой.

— К хохлам, Прокофич?

— Туда.

— Ну, давай бог.

— Спаси Христос.

— Косилку в степе́ бросил, вернешься — тады пригоним!— крикнул Афонька вслед.

Степан, не оборачиваясь, махнул рукой. К полдню дошел до хутора Нижне-Яблоновского, завернул к полчанину[1]. Погоревали

[1] Полчанин — сослуживец по полку.

вместе, похлебал молока и тронулся дальше. По дороге люди встречались часто.

Степан останавливался, спрашивал:

— А что, не встревались вам быки? У одного рог сбитый, обое красной масти.

— Не было.

— Не бачили.

— Таких не примечали.

И Степан дальше разматывал серое ряднище дороги, постукивал костылем, потел, облизывая обветренные губы шершавым языком.

Уже перед вечером на развилке двух дорог догнал арбу с сеном. Наверху сидел без шапки желтоголовый, лет трех мальчуган. Лошадь вел мужчина в холстинных, измазанных косилочной мазью штанах и в рабочей соломенной шляпе. Степан поравнялся с ним.

— Здорово живете.

Рука с кнутом нехотя поднялась до широких полей соломенной шляпы.

— Не припало вам видеть быков...— начал Степан и осекся. Кровь загудела в висках, выбелив щеки, схлынула к сердцу: из-под соломенной шляпы — знакомое до жути лицо. То лицо, что белым полымем светилось в темноте бессонных ночей, неотступно маячило перед глазами... Из-под тенистых полей шляпы, не угадывая, равнодушно глядели на него усталые глаза, редкие, запаленные усы висели над полуоткрытыми губами, в желтом ряду обкуренных зубов чернела щербатина.

— Аааа... довелось свидеться!..

Под шляпой резко побелел сначала загорелый лоб, бледность медленно сползла на щеки, дошла до подбородка и рябью покрыла губы.

— Угадал?

— Шо вам... Шо вам надо?.. Зроду и не бачил!

— Нет?... А зимой хлеб?.. Кто?..

— Нет... Не было... Обознались, мабуть...

Степан легко выдернул торчавшие в возу вилы-тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожиданно сел у ног остановившейся потной лошади, в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх.

— Жинка померла у мене... Хлопчик вон остался...— ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем.

— За что обидел?— весь дрожа, хрипел Степан.

Тавричанин тупо оглядел холстинные свои штаны и качнулся.

— Дидо, возьмить коняку... Нужда была... А? Возьмить коняку мово. Христа ради! Промеж нас будеть... Помиримось...— часто заговорил он, косноязыча и разгребая руками дорожную пыль.

— Обидел!.. Мертвая земля лежит!.. А?.. Голод приняли!.. Пухли от травы!.. А?— выкрикивал Степан, подступая все ближе.

— Похоронил жинку... в бабьей хворости была... Вот хлопчик... Третий год с пасхи... Прости, дидо!.. Сойдемся миром... Отдам хлеб...— в смертной тоске мотал тавричанин головою и уже несвязное болтал мертвенно деревеневший язык, застывая в судороге животного ужаса...

— Молись богу!..— выдохнул Степан и перекрестился.

— Постой! Погоди... Богом прошу!.. А хлопец?

— Возьму к себе... Не об нем душой болей!..

— Сено не свозил... Ох! Хозяйство сгибнет... Та как же...

Степан занес вилы, на коротенький миг задержал их над головой и, чувствуя нарастающий гул в ушах, со стоном воткнул их в мягкое, забившееся на зубьях дрожью...

На пожелтевшее, строгое, прижатое к земле лицо кинул клок сена, потом взлез на воз и взял на руки зарывшегося в сено мальчонка.

Пошел от воза петлястыми, пьяными шагами, направляясь к тлевшим на сугорье огням слободы. Прижимая к груди выгибавшегося в судороге мальчонка, шептал, сжимая кла́цающие зубы:

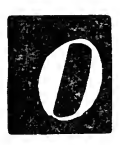
— Молчи, сынок! Цыц!.. Ну... молчи, а то бирюк возьмет. Молчи!..

А тот, закатывая глаза, рвался из рук, визжал в залитую голубыми сумерками, нерушимо спокойную степь:

— Тато!.. Та-то!.. Та-а-ато!..

1925 или 1926

СМЕРТНЫЙ ВРАГ



ранжевое, негреющее солнце еще не скрылось за резко очерченной линией горизонта, а месяц, отливающий золотом в густой синеве закатного неба, уже уверенно полз с восхода и красил свежий снег сумеречной голубизной.

Из труб дым поднимался кудреватыми тающими столбами, в хуторе попахивало жженым бурьяном, золой. Крик ворон был сух и отчетлив. Из степи шла ночь, сгущая краски; и едва лишь село солнце, над колодезным журавлем повисла, мигая, звездочка, застенчивая и смущенная, как невеста на первых смотринах.

Поужинав, Ефим вышел на двор, плотнее запахнул приношенную шинель, поднял воротник и, ежась от холода, быстро зашагал по улице. Не доходя до старенькой школы, свернул в переулок и вошел в крайний двор. Отворил дверь в сенцы, прислушался — в хате гомонили и смеялись. Едва распахнул он дверь,— разговор смолк. Возле печки колыхался табачный дым, телок посреди хаты

цедил на земляной пол тоненькую струйку, на скрип двери нехотя повернул лопоухую голову и отрывисто замычал.

— Здорово живете!

— Слава богу,— недружно ответили два голоса.

Ефим осторожно перешагнул лужу, ползущую из-под телка, и присел на лавку. Поворачиваясь к печке, где на корточках расположились курившие, спросил:

— Собрание не скоро?

— А вот как соберутся, народу мало,— ответил хозяин хаты и, шлепнув раскоряченного телка, присыпал песком мокрый пол.

Возле печки затушил цигарку Игнат Борщев и, цвиркнув сквозь зубы зеленоватой слюной, подошел и сел рядом с Ефимом.

— Ну, Ефим, быть тебе председателем. Мы уж тут мороковали про это,— насмешливо улыбнулся он, поглаживая бороду.

— Трошки подожду.

— Что так?

— Боюсь, не поладим.

— Как-нибудь... Парень ты подходящий, был в Красной Армии, из бедняцкого классу.

— Вам человек из своих нужен...

— Из каких это своих?

— А из таких, чтоб вашу руку одерживал. Чтоб таким, как ты, богатеям в глаза засматривал да под вашу дудочку приплясывал.

Игнат кашлянул и, сверкнув из-под папахи глазами, подмигнул сидевшим у печки.

— Почти что и так... Таких, как ты, нам и даром не надо!.. Кто против мира прет? Ефим! Кто народу, как кость, поперек горла становится? Ефим! Кто выслуживается перед беднотой? Опять же Ефим!..

— Перед кулаками выслуживаться не буду!

— Не просим!

Возле печки, выпустив облака дыма, сдержанно заговорил Влас Тимофеевич:

— Кулаков у нас в хуторе нет, а босяки есть... А тебя, Ефим, на выборную должность поставим. Вот, с весны скотину стеречь либо на бахчи.

Игнат, махая варежкой, поперхнулся смехом, у печки гоготали дружно и долго. Когда умолк смех, Игнат вытер обслюнявленную бороду и, хлопая побледневшего Ефима по плечу, заговорил:

— Так-то, Ефим, мы — кулаки, такие-сякие, а как весна зайдет, вся твоя беднота, весь пролетарьят шапку с головы да ко мне же, к такому-сякому, с поклонцем: «Игнат Михалыч, вспаши десятинку! Игнат Михалыч, ради Христа, одолжи до нови мерку проса...» Зачем же идете-то? То-то и оно! Ты ему, сукину сыну, сделаешь уважение, а он заместо благодарности бац на тебя заявление: укрыл, мол, посев от обложения. А государству твому за что я должен платить? Коли нету в мошне, пущай под окнами ходит, авось кто и кинет!..

— Ты дал прошлой весной Дуньке Воробьевой меру проса?— спросил Ефим, судорожно кривя рот.

— Дал!

— А сколько она тебе за нее работала?

— Не твое дело!— резко оборвал Игнат.

— Все лето на твоем покосе гнула хрип. Ее девки пололи твои огороды!..— выкрикнул Ефим.

— А кто на все общество подавал заявление на укрытие посева?— заревел у печки Влас.

— Будете укрывать, и опять подам!

— Зажмем рот! Не дюже гавкнешь!

— Попомни, Ефим: кто мира не слушает, тот богу противник!

— Вас, бедноты,— рукав, а нас — шуба!

Ефим дрожащими руками скрутил цигарку, глядя исподлобья, усмехнулся.

— Нет, господа старики, ушло ваше время. Отцвели!.. Мы становили Советскую власть, и мы не позволим, чтоб бедноте наступали на горло! Не будет так, как в прошлом году; тогда вы сумели захватить себе чернозем, а нам всучили песчаник, а теперь ваша не пляшет. Мы у Советской власти не пасынки!..

Игнат, багровый и страшный, с изуродованным лбом, с изуродованным злобой лицом, поднял руку.

— Гляди, Ефим, не оступись!.. Поперек дороги не становись нам!.. Как жили, так и будем жить, а ты отойди в сторону!..

— Не отойду!

— Не отойдешь — уберем! С корнем выдернем, как поганую траву!.. Ты нам не друг и не хуторянин, ты — смертный враг, ты — бешеная собака!

Дверь распахнулась, и вместе с клубами пара в хату протиснулось человек двенадцать. Бабы крестились на иконы и отходили в сторонку, казаки снимали папахи, крякая и обрывая с усов намерзшие сосульки. Через полчаса, когда народу набилось полная кухня и горница, председатель избирательной комиссии встал за столом, сказал привычным голосом:

— Общее собрание граждан хутора Подгорное считаю открытым. Прошу избрать президиум для ведения настоящего собрания.

* * *

В полночь, когда от табачного дыма нечем было дышать и лампа моргала и тухла, а бабы давились кашлем, секретарь собрания, глядя на бумагу полуопьяневшими глазами, выкрикнул:

— Оглашается список избранных в члены Совета! По большинству голосов избранными оказались: первый — Прохор Рвачев и второй — Ефим Озеров.

* * *

Ефим зашел в конюшню, подложил кобыле сена, и, едва ступил на скрипевшее от мороза крыльцо, в сарае загорланил петух. По черному пологу неба приплясывали желтые крапинки звезд, Стожары тлели над самой головой. «Полночь»,— подумал Ефим, трогая щеколду. По сенцам, шаркая валенками, кто-то подошел к двери.

— Кто такое?

— Я, Маша. Отпирай скорее!

Ефим плотно прихлопнул за собой дверь и зажег спичку. Фитиль, плавающий в блюдце с бараньим жиром, чадно затрещал. Стягивая с плеч шинель, Ефим нагнулся над люлькой, висевшей у кровати, и брови его разгладились, возле рта легла нежная складка, губы, посиневшие от холода, зашептали привычную ласку. В лохмотьях, в тряпье, разбросав пухлые ручонки, заголившись до пояса, лежал розовый от сна шестимесячный первенец. На подушке, рядом с ним — рожок, туго набитый жеваным хлебом.

Осторожно подсунув руку под горячую спинку, Ефим шепотом позвал жену.

— Перемени подстилку, обмочился, поганец!..

И пока снимала она с печки просохшую пеленку, Ефим вполголоса сказал:

— Маша, а ить меня выбрали в секретари.

— Ну, а Игнат с другими?

— В дыбки становились! Беднота за меня, как один.

— Смотри, Ефимушка, не наживи ты беды.

— Беда не мне будет, а им. Теперь начнут меня спихивать. В председатели-то прошел Игнатов зять.

* * *

Со дня перевыборов через хутор словно кто борозду пропахал и разделил людей на две враждебные стороны. С одной — Ефим и хуторская беднота; с другой — Игнат с зятем-председателем, Влас, хозяин мельницы-водянки, человек пять богатеев и часть середняков.

— Они нас в грязь втопчут!— неистово кричал на проулке Игнат.— Я знаю, куда Ефим крутит. Он хочет уравнять всех. Слыхали, что он у Федьки-сапожника напевал? Будет, мол, у нас общественная запашка, будем землю вместе обрабатывать, а может, и трактор купим... Нет, ты сперва наживи четыре пары быков, а после и со мной равняйся, а то, кроме вшей в портках, и худобы нету! По мне, на трактор ихний наплевать. Деды наши и без него обходились!

Как-то перед вечером, в воскресенье, собрались возле Игнатова двора. Заговорили о весеннем переделе земли. Игнат, подвыпивший ради праздника, мотал головой и, отрыгивая самогонкой, вертелся возле Ивана Донскова.

— Нет, Ваня, ты по-суседски рассуди. Ну, на что вам, к примеру, нужна земля возле Переносного пруда? Да ей-богу! Земля там жирная, ей надо вспашку и обработку как следовает! А ты какого клепа вспашешь с одной парой быков? Ты, по-советски, середняк, то ись стоишь промеж Ефимкой и мной, обсуди, с кем тебе выгоднее якшаться? Вот ты по-доброму, как сусед, и того... На что вам земля у Переносного?

Иван сунул палец за вылинявший кушак, спросил прямо и строго:

— Ты это куда гнешь?

— Про землю то ись... Ну, сам посуди, земля там жирная...

— По-твоему, стал быть, нам хоть на белой глине сеять можно?

— Вот-вот!.. Опять же и про глину... Зачем на глине? Можно уважить...

— Земля у Переносного жирная... Гляди, дядя Игнат, как бы ты не подавился жирным куском!..— Иван круто повернулся и ушел.

Среди оставшихся долго цепенела неловкая тишина.

А на краю хутора, у Федьки-сапожника, в этот же вечер Ефим, вспотевший и красный, потряхивая волосами, неистово махал рукой:

— Тут не пером надо подсоблять, а делом! Селькоров этих расплодилось ровно мух. И с делом, и с небылицами прут в газету, иной раз читать тошно. А спроси, много из них каждый сделал? Заместо того чтоб хныкать да к власти под подол, как дите к матери, забираться, кулаку свой кулак покажи. Что? К чертовой матери! Беднота у Советской власти не век должна сиську дудолить, пора уж самим по свету ходить... Вот именно, без помочей! Прошел я в члены Совета, а теперь поглядим, кто кого.

* * *

Ночь неуклюже нагромоздила темноту в проулках, в садах, в степи. Вечер с разбойничьим посвистом мчался по улицам, турсучил скованные морозом голые деревья, нахально засматривал под застрехи построек, ерошил перья у нахохленных спящих воробьев и заставлял их сквозь сон вспоминать об июньском зное, о спелой, омытой утренней росой вишне, о навозных личинках и о прочих вкусных вещах, которые нам, людям, в зимние ночи никогда не снятся.

Возле школьного забора в темноте тлели огни цигарок. Иногда ветер схватывал пепел с искрами и заботливо нес ввысь, покуда искры не тухли, и тогда снова над густо-фиолетовым снегом дрожали темь и тишина, тишина и темь.

Один, в распахнутом полушубке, прислонясь к забору, молча курил. Другой стоял рядом, глубоко вобрав голову в плечи.

Молчание долго никем не нарушалось. Немного погодя завязался разговор. Говорили придушенным шепотом.

— Ну, как?

— Препятствует. У тестя девка в работницах живет, так он надысь подкапывается. «Договор с ней заключали?»— спрашивает. «Не знаю»,— говорю. А он мне: «Надо бы председателю знать, за это по головке не гладят...»

— Уберем с дороги?

— Придется.

— А ежели дознаются?

— Следы надо покрыть.

— Так когда же?

— Приходи, посоветуем.

— Черт его знает... Страшновато как-то... Человека убить — не жуй да плюй.

— Чудак, иначе нельзя! Понимаешь, он могет весь хутор разорить. Запиши посев правильно, так налогом шкуру сдерут, опять же земля... Он один бедноту настраивает... Без него мы гольтепу эту во́ как зажмем!..

В темноте хрустнули пальцы, стиснутые в кулак.

Ветер подхватил матерную брань.

— Ну, так придешь, что ли?

— Не знаю... может, приду... Приду!

* * *

Ефим, позавтракав, только что собрался идти в исполком, когда, глянув в окно, увидел Игната.

— Игнат идет, что бы это такое?

— Он не один, с ним Влас-мельник,— добавила жена.

Вошли оба в хату и, сняв шапки, истово перекрестились.

— Здорово дневали!

— Здравствуйте,— ответил Ефим.

— С погодкой, Ефим Миколаич! То-то денек ныне хорош выпал, пороша свежая, теперь бы за зайчишками погонять.

— За чем же дело стало?— спросил Ефим, недоумевая, зачем пришли диковинные гости.

— Куда уж мне,— присаживаясь, заговорил Игнат.— Это тебе можно: дело молодое, пришел ко мне, прихватил собак — в степь. Надысь собаки сами лису взяли возля огородов.

Влас, распахнув шубу, сел на кровать и, покачивая люльку, откашлялся.

— Мы это к тебе, Ефим, пришли. Дельце есть.

— Говорите!

— Слыхали, что хочешь ты с нашего хутора переходить на жительство в станицу. Верно?

— Никуда я не собираюсь переходить. Кто это вам напел?— удивленно спросил Ефим.

— Слыхали промеж людей,— уклончиво ответил Влас,-

и пришли из этого. Какой тебе расчет переходить в станицу, когда можно под боком купить флигелек с подворьем и совсем даже задешево.

— Это где же?

— В Калиновке. Продается недорого. Ежли хошь переходить — могем помочь и деньгами, в рассрочку. И перебраться помогем.

Ефим улыбнулся:

— А вам бы хотелось спихнуть меня с рук?

— Ты выдумаешь!— Игнат замахал руками.

— Вот что я вам скажу.— Ефим подошел к Игнату вплотную.— С хутора я никуда не пойду, и вы отчаливайте с этим! Я знаю, в чем дело! Меня вы не купите ни деньгами, ни посулами!— Густо багровея, судорожно переводя дух, крикнул, как плюнул, в ехидное бородатое лицо Игната:— Иди из моей хаты, старая собака! И ты, мельник... Идите, гады!.. Да живей, покедова я вас с потрохами не вышиб!

В сенцах Игнат долго поднимал воротник шубы и, стоя к Ефиму спиной, раздельно сказал:

— Тебе, Ефимка, это припомнится! Не хочешь добром уходить? Не надо. Тебя из этой хаты вперед ногами вынесут!

Не владея собой, Ефим сграбастал воротник обеими руками и, бешено встряхнув Игната, швырнул его с крыльца. Запутавшись в полах шубы, Игнат грузно жмякнулся о землю, но вскочил проворно, по-молодому и, вытирая кровь с разбитых при падении губ, кинулся на Ефима. Влас, растопырив руки, удержал его:

— Брось, Игнат, не сычас... успеется...

Игнат, угнувшись вперед, долго глядел на Ефима недвижным помутневшим взглядом, шевелил губами, потом повернулся и пошел, не сказав ни слова. Влас шел позади, обметая с его шубы налипший снег, и изредка оглядывался на Ефима, стоявшего на крыльце.

* * *

Перед святками к Ефиму во двор прибежала, обливаясь слезами, Дунька — Игнатова работница.

— Ты чего, Дуняха? Кто тебя?— спросил Ефим и, воткнув вилы в прикладок соломы, торопливо вышел с гумна.— Кто тебя?— переспросил он, подходя ближе.

Девка с опухшим и мокрым от слез лицом высморкалась в завеску и, утирая слезы концом платка, хрипло заголосила:

— Ефим, пожалей ты мою головоньку!.. Охо-хо-хо!.. И что же я буду, сиротинушка, де-е-лать!..

— Да ты не вой! Выкладывай толком...— прикрикнул Ефим.

— Выгнал меня хозяин со двора. Иди, говорит, не нужна ты мне больше!.. Куда же я теперича денусь? С филипповок третий год пошел, как я у него жила... Просила хоть рупь денег за прожи-

тое... Нет, говорит, тебе и копейки, я сам бы поднял, да они — денюжки — на дороге не валяются.

— Пойдем в хату!— коротко сказал Ефим.

Не спеша раздевшись, повесил на гвоздь шинель Ефим, сел за стол, усадил напротив всхлипывающую девку.

— Ты как у него жила, по договору?

— Я не знаю... Жила с голодного году.

— А договор, словом, бумагу никакую не подписывала?

— Нет. Я неграмотная, насилу фамилию расписываю.

Помолчав, Ефим достал с полки четвертушку оберточной бумаги и ковыляющим почерком четко вывел:

В нарсуд 8-го участка

ЗАЯВЛЕНИЕ...

* * *

С весны прошлого года, когда Ефим подал в станичный исполком заявление на кулаков, укрывших посев от обложения, Игнат — прежний заправила всего хутора — затаил на Ефима злобу. Открыто он ее ничем не выражал, но из-за угла, втихомолку гадил. На покосе обидел Ефима сеном. Ночью, когда тот уехал в хутор, пригнал Игнат две арбы и увез чуть не половину всей скошенной травы. Ефим смолчал, хотя приметил, что с его покоса колесники вели по проследку до самого Игнатова гумна.

Недели через две борзые Игната напали в Крутом логу на волчью нору. Волчица ушла, а двух волчат, шершавеньких и беспомощных, Игнат достал из логова и посадил в мешок. Увязав мешок в торока, сел на лошадь и не спеша поехал домой.

Лошадь храпела и боязливо прижимала уши, на ходу выгибалась, словно готовясь к прыжку, борзые юлили у самых ног лошади, нюхали воздух, поднимая горбатые морды, и тихонько подвизгивали. Игнат качался в седле, поглаживая шею коня, ухмыляясь в бороду.

Короткие летние сумерки уступили дорогу ночи, когда Игнат с горы спустился в хутор. Под копытами коня сверкали, отлетая, каменные осколки, в тороках в мешке молча возились волчата.

Не доезжая до Ефимова двора, Игнат натянул поводья и, скрипнув седлом, соскочил на землю. Отвязав мешок, вытащил первого попавшегося под руку волчонка, под теплой шерсткой нащупал тоненькую трубочку горла и, морщась, стиснул ее большим и указательным пальцами. Короткий хруст. Волчонок с переломанным горлом летит через плетень в Ефимов двор и неслышно падает в густые колючки. Через минуту другой шлепается в двух шагах от первого.

Игнат брезгливо вытирает руку, вскакивает в седло и щелкает плетью. Конь, фыркая, мчится по проулку, позади спешат поджарые борзые.

А ночью к хутору с горы спустилась волчица и долго черной недвижной тенью стояла возле ветряка. Ветер дул с юга, нес к ветряку враждебные запахи, чуждые звуки... Угнув голову, припадая к траве, волчица сползла в проулок и стала возле Ефимова двора, обнюхивая следы. Без разбега перемахнула двухаршинный плетень, извиваясь, поползла по колючкам.

Ефим, разбуженный ревом скота, зажег фонарь и выскочил на двор. Добежал до база — воротца приоткрытые; направив туда желтый мигающий свет, увидел: к яслям приткнулась овца, между широко расставленных ног ее синим клубом дымились выпущенные кишки. Другая лежала посреди база, из расшматованного горла уже не лилась кровь.

Утром нечаянно наткнулся Ефим на мертвых волчат, лежавших в колючках, и догадался, чьих рук это дело. Забрав волчат на лопату, вынес в степь и кинул подальше от дороги. Но волчица наведалась в Ефимов двор еще раз. Продрав камышовую крышу сарая, бесшумно зарезала корову и скрылась.

Ефим отвез ободранную корову в глинище, куда сваливается падаль, и прямо оттуда пошел к Игнату. Под навесом сарая Игнат тесал ребра на новую арбу. Увидев Ефима, отложил топор, улыбнулся и, поджидая, присел на дышло повозки, стоявшей под навесом.

— Иди в холодок, Ефим!

Ефим, сохраняя спокойствие, подошел и сел рядом.

— Хорошие у тебя собаки, дядя Игнат!..

— Да, брат, собачки у меня дорогие... Эй, Разбой, фюйть! Иди сюда!..

С крыльца сорвался грудастый, длинноногий кобель и, виляя крючковатым хвостом, подбежал к хозяину.

— Я за этого Разбоя ильинским казакам заплатил корову с телком.— Улыбнувшись уголками губ, Игнат продолжал:— Хорош кобель... Волка берет...

Ефим протянул руку к топору и, почесывая кобеля за ушами, переспросил:

— Корову, говоришь?

— С телком. Да рази это цена? Он дороже стоит.

Коротко взмахнув топором, Ефим развалил череп собаки надвое. На Игната брызнула кровь и комья горячего мозга.

Посиневший Ефим тяжело поднялся с повозки и, кинув топор, шепотом выдохнул:

— Видал?

Игнат выпученными глазами глядел, задыхаясь, на скрюченные ноги собаки.

— Сбесился ты, что ли?— просипел он.

— Сбесился,— мелко подрагивая, шептал Ефим.— Тебе бы, гаду, голову надо стесать, а не собаке!.. Кто волчат у мово двора побил? Твоих рук дело!.. У тебя восемь коров... одну потерять — убыток малый. А у меня последнюю волчиха зарезала, дите без молока осталось!..

Ефим крупно зашагал к воротам, у самой калитки его догнал Игнат.

— За кобеля заплатишь, сукин сын!..— крикнул он, загораживая дорогу.

Ефим шагнул вплотную и, дыша в растрепанную бороду Игната, проговорил:

— Ты, Игнат, меня не трожь! Я тебе не свойский, терпеть обиду не буду. За зло — злом отквитаю! Прошло время, когда перед тобой спину гнули!.. Прочь...

Игнат посторонился, уступая дорогу. Хлопнул калиткой и долго матерился, грозил уходившему Ефиму кулаком.

* * *

После случая с собакой Игнат перестал преследовать Ефима. При встрече с ним кланялся и отводил глаза в сторону. Такие отношения тянулись до тех пор, пока суд не присудил Игната к уплате шестидесяти рублей Дуньке-работнице. С этого времени Ефим почувствовал, что из Игнатова двора грозит ему опасность. Что-то готовилось. Лисьи глазки Игната таинственно улыбались, глядя на Ефима.

Как-то в исполкоме председатель с подходцем выспрашивал:

— Слыхал, Ефим, с тестя присудили шестьдесят рублей?

— Слыхал.

— Кто бы мог научить эту шалаву — Дуньку?

Ефим улыбнулся и поглядел прямо в глаза председателю.

— Нужда. Тесть твой выгнал ее со двора и куска хлеба не дал на дорогу, а Дунька работала у него два года.

— Так ведь мы же ее кормили!..

— И заставляли работать с утра до ночи?

— В хозяйстве, сам знаешь, работа не по часам.

— Тебе, я вижу, любопытно знать, кто написал заявление в суд?

— Вот-вот, кто б это мог?

— Я,— ответил Ефим и по лицу председателя понял, что это для него не является неожиданностью.

Перед вечером Ефим взял с собой из исполкома бумаги и обязательное постановление стансполкома.

«Перепишу после ужина»,— подумал, шагая домой. Поужинал, закрыл с надворья ставни и сел за стол переписывать. Взгляд его случайно упал на оголенные рамы окон.

— Маша, ты что ж, аль не купила ситцу на занавески?

Жена, сидевшая за прялкой, виновато улыбнулась:

— Я купила два метра... ты ить знаешь, пеленок нету... дите в лохмотьях... я и сшила две пеленки.

— Ну, это ничего... А все ж таки завтра купи. Неловко: кто ставню с улицы откроет — все видно.

За окнами, узорчато размалеванными морозом, ветер пушил поземкой. Тучи, бесформенные и тяжелые, застилали небо. На краю

хутора, там, где лобастая гора спускается к дворам забурьяневшим склоном, брехали собаки. Над речкой вербы обиженно роптали жаловались ветру на холод, на непогодь, и скрип их раскачивающихся ветвей и шум ветра сливались в согласный басовитый гул.

Ефим, макая перо в самодельную чернильницу с чернилами, сделанными из дубовых ягод, изредка поглядывал на окно, таившее в черном немом квадрате молчаливую угрозу. Ему было не по себе. Часа через два ставня с улицы скрипнула и слегка приоткрылась, Ефим не слышал скрипа, но, бесцельно взглянув на окно, похолодел от ужаса: в узенький просвет сквозь ветвистую изморозь на него, прижмурясь, тяжко глядели чьи-то знакомые серые глаза. Через секунду на уровне его головы за стеклом, словно нащупывая, появилась черная дырка винтовочного дула. Ефим сидел, откинувшись к стене, недвижный, побледневший. Рама была одинарная, и он ясно услышал, как щелкнул спуск. Над серыми глазами изумленно дернулись брови... Выстрела не последовало. На миг за стеклом исчез черный кружок, четко лязгнул затвор, но Ефим, опомнившись, дунул на огонь — и едва успел нагнуть голову, как за окном ахнул выстрел, брызнуло стекло и пуля сочно чмокнулась в стену, осыпая Ефима кусками штукатурки.

Ветер хлынул в разбитое окно, запорошив лавку снежной пылью. В люльке пронзительно закричал ребенок, хлопнула ставня...

Ефим бесшумно сполз на пол и на четвереньках добрался до окна.

— Ефимушка! Родненький!.. Ой, господи!.. Ефимушка!..— плакала на кровати жена, но Ефим, стиснув зубы, не отзывался; дрожь трясла его тело. Приподнявшись, заглянул он в разбитое окно; увидел, как по улице рысью убегал кто-то, закутанный снежной пылью. Опираясь на лавку, встал Ефим во весь рост и снова стремительно упал на пол: из-за полуоткрытой ставни скользнул ствол винтовки, грохнул выстрел... Едкий запах пороховой гари наполнил хату.

* * *

Наутро Ефим, осунувшийся и желтый, вышел на крыльцо. Светило солнце, трубы курились дымом, ревел у речки скот, пригнанный на водопой. На улице лежали свежие следы полозьев, новый снег слепил глаза незапятнанной белизной. Все было такое обычное, будничное, родное, и прошедшая ночь показалась Ефиму угарным сном. Возле завалинки, против разбитого окна, нашел он в снегу две порожние гильзы и винтовочный патрон с черной ямкой на пистоне. Долго вертел в руках заржавленный патрон, подумал: «Если б не осечка, если б обойма эта не была отсыревшей,— каюк бы тебе, Ефим!»

В исполкоме уже сидел председатель. На скрип двери мельком взглянул на Ефима и снова склонился над газетой.

— Рвачев!— окликнул Ефим.

— Ну?— отозвался тот, не поднимая головы.

— Рвачев! Гляди сюда!..

Председатель нехотя поднял голову, и прямо на Ефима глянули из-под крутого излома бровей широко расставленные серые глаза.

— Ты, подлец, стрелял в меня ночью?— хрипло спросил Ефим.

Председатель, багровея, принужденно засмеялся:

— Ты что? С ума спятил?

У Ефима перед глазами встала минувшая ночь: тяжкий, немигающий взгляд за стеклом, черная пасть винтовки, крик жены... Устало махнув рукой, Ефим сел на лавку и улыбнулся:

— Не вышло. Патроны сырые... Где они у тебя спасались? Небось в земле?

Председатель вполне овладел собой, ответил холодно:

— Не знаю, о чем ты говоришь: должно, лишнее выпил.

К полудню слух о том, что в Ефима ночью стреляли, облетел весь хутор. Возле хаты его толпились любопытные. Иван Донсков вызвал Ефима из исполкома, спросил:

— Ты сообщил в милицию?

— С этим успеется.

— Ну, брат, не робей, в обиду тебя мы не дадим. С Игнатом теперича осталось человек пять, а мы их раскусили! За кулачьем никто уже не пойдет, все откачнулись, будя!..

Вечером, когда у Федьки-сапожника собралась молодежь и под стук его чеботарского молотка закипел, как всегда, горячий разговор, к Ефиму подсел сверстник Васька Обнизов, зашептал любовно, сжимая Ефимово плечо:

— Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет. Понял? Толком тебе говорю! Знаешь, как в сказке про богатырей? Одного убьют, а их обратно двое получается... Ну, а нас не двое, а двадцать образуется!

* * *

В станицу пошел Ефим с утра. Побывал в исполкоме, в кредитном товариществе, в милиции задержался, поджидая старшего милиционера. Покуда управился с делами — смерклось.

Вышел из станицы и по гладкому, скользкому льду речки пошел домой. Вечерело. Щеки слегка покалывал морозец. На западе неприветливо синела ночь. За поворотом завиднелся хутор, темные ряды построек. Ефим прибавил шагу и, оглянувшись назад, увидел: позади, шагах в двухстах, идут кучкой трое.

Смерив взглядом расстояние до хутора, Ефим пошел быстрее, но, оглянувшись через минуту, увидел, что те, позади, не только не отстали, а даже как будто приблизились. Охваченный тревогой, Ефим перешел на рысь. Бежал, как на ученье, плотно прижав локти к бокам, вдыхая морозный воздух через нос. Хотел выбраться на

берег, но вспомнил, что там глубокий снег, и снова побежал вдоль речки.

Случилось так: не рассчитав движения, поскользнулся, не выправился и упал. Поднимаясь, глянул назад, его настигали... Передний бежал упруго и легко, на бегу размахивая колом.

Ужас едва не вырвал из горла Ефима крик о помощи, но до хутора было больше версты: крик все равно никто не услышит. В короткий миг осознав это, Ефим сжал губы и молча рванулся вперед, пытаясь наверстать время, потерянное при падении. Несколько минут расстояние, лежавшее между ним и передним из трех, как будто не сокращалось; затем, оглянувшись, Ефим увидел, что бежавший позади настигает его. Собрав все силы, помчался быстрее, и тут слух его уловил новый звук: по льду, глухо вызванивая, стремительно скользил кол. Удар сбил Ефима с ног. Вскочив, он снова побежал. На секунду вспомнил: так же бежал он под Царицыном, когда атакой выбивали белых, такое же горячее удушье заливало тогда грудь...

Кол, пущенный сильной рукой, опять свалил Ефима с ног. Он не поднялся... Сзади кто-то страшным ударом в голову отбросил его в сторону. В железный комок собрав всю волю, Ефим, качаясь, встал на четвереньки, но его повалили навзничь.

«Лед почему-то горячий...»— сверкнула мысль. Глянув вбок, Ефим увидел у берега надломленный стебель камыша. «Сломили и меня...» И сейчас же в тускнеющем сознании огненные всплыли слова: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет!.. Как в сказке про богатырей...»

Где-то в камыше стоял тягучий, беспрерывный гул... Ефим не чувствовал, как в рот ему, ломая зубы, выворачивая десны, глубоко всадили кол; не чувствовал, как вилы пронзили ему грудь и выгнулись, воткнувшись в позвоночник...

* * *

Трое, покуривая, быстро шли к хутору, за одним из них поспешали борзые. Срывалась метель, снег падал на лицо Ефима и уже не таял на холодных щеках, где замерзли две слезинки непереносимой боли и ужаса.

1926

ЖЕРЕБЕНОК

реди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва, воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи, петух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:

— Та-а-ак... Значит, ожеребилась? Нашла время, нечего сказать.— В последней фразе сквозила горькая обида.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:

— Догулялась?

Не дождавшись ответа, заговорил снова:

— Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?

В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на

левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают красниною, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.

— Убить его?— Большой, пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.

Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина.

* * *

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор:

— Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, намётом — не моги, опышка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжеребанная... Так уж береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой... Вот...— рассказывает Трофим.

Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие.

— ...безразлично. Гнедой или вороней — все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.

— Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:

— Половничек плетете?

Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:

— А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.

— Нет, подходяще,— похвалил Трофим.

Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил:

— Идешь жеребенка ликвидировать?

Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.

Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно чем-то смущенный.

— Ну что?

— Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.

— А ну, дай винтовку.

Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.

— Да тут патрон нету!..

— Не могет быть!..— с жаром воскликнул Трофим.

— Я тебе говорю, нет.

— Так я ж их кинул там... за конюшней...

Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны...

— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится война — на нем еще того... пахать. А командующий, на случай чего, войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш! А боек у твово винта справный.

* * *

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти намётом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных — с красно-медными носами — выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где

бородатые краснорожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.

Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок...

Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.

— Спишь, Трофим?

— Дремаю.

Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал:

— Жеребца свово сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... И между прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног крутился...— Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки.— Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой.

* * *

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.

Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря.

В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на средине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.

— Загубит лодку!— хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!..— заревел эскадронный, комкая плеть.

Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост, и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного, у самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувшийся над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржанье: и-и-и-го-го-го!...

Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудно́е сделалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржаньем. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:

— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..

— Убью!— выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.

Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь «максима». Чмокаясь в воду,

шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:

— Пре-кра-тить стрельбу!..

Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу... С правого берега не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок — все ярко-зеленое, призрачное... Последнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

1926

КАЛОШИ

I

тех пор как на слободские игрища стали приходить парни из станицы (а случилось это осенью, после обмолота хлебов), Семка увидел, что Маринка сразу к нему охладела. Словно никогда и не крутили они промеж себя любовь, словно и не она, Маринка, подарила Семке кисет голубого сатина с зеленой собственноручной вышивкой по краям и с розовыми буквами, целомудренно

сиявшими на всех четырех углах этого роскошного подарка. И когда доставал Семка кисет и, слюнявя клочок «Крестьянской газеты», сворачивал подобие козьей ножки, не эти ли чудесные, мерцавшие розовым огнем буквы наивно уверяли его в любви? А теперь как будто поблекла небесная лазурь сатинового кисета, увяли пожелтевшие узоры вышивки, и буквы К-Л-Т-Д, уверявшие от лица Маринки: «кого люблю — тому дарю», глядели на Семку с ехидным лукавством, напоминая обладателю об утраченном счастье. Даже самосад, покоившийся внутри кисета, казался Семке забористей и приобрел почему-то горьковатый, щиплющий привкус.

Причина, повлекшая к преждевременному разрыву любовных отношений с Маринкой, вытекала прямо из калош.

Семка заметил это в воскресенье, когда на игрища в первый раз пришли станичные парни. Один из них, Гришка, по прозвищу «Мокроусый», был с гармошкой немецкого строя, в пухлых галифе с лампасами и в сапогах, на которых немеркнущим глянцем сияли новые калоши.

Вот с этих-то калош весь вечер не сводила Маринка восхищенного взгляда, а Семка, позабытый и жалкий, просидел в углу до конца игрищ и оттуда с кривой дрожащей улыбкой глядел не на Маринку, разрумяненную танцами, не на судорогу, поводившую губы гармониста, а на пару Гришкиных калош, добросовестно вышлепывающих по грязному полу замысловатые фигуры.

У Семки на будни и праздники одни вязаные чувяки да рваные штаны. Материя от ветхости не держит латок, нитки пробредают, и из прорех высматривает смуглое до черноты Семкино тело. Через это и получилось так, что после игрищ пошел провожать Маринку Гришка, а Семка вышел последним из накуренной хаты и, прижимаясь к плетням, намокшим росою, побрел к Маринкиному двору.

II

По дороге мягким войлоком лежала взрыхленная колесами пыль. Ночь текла над слободкой, подгоняемая ветром. Ущербленный месяц, бездельничая, слонялся по небу, а по слободской улице впереди Семки шла Маринка об руку с Гришкой. Маринка держала голову слегка набок, а Гришка, сутулясь, бороздил пушистую пыль калошами и сквозь зубы насвистывал.

Возле Маринкиного двора лежат срубленные вербы. Парочка села. Семка хрустнул пальцами и с козлиной легкостью перемахнул через плетень.

Сквозь решетчатые просветы плетня ясно, как белым днем, видно Маринку и Гришку, перебирающего лады двухрядки. Под сдержанные взвизгивания гармошки Гришка вполголоса чеканил:

— Ох, Мариша, сам не знаю,
По тебе я как страдаю.

Обрати внимание
Ты на мое страдание!..

Маринка придвинулась поближе, спросила вкрадчиво:

— Где покупали калоши, Григорий Климыч?

Гришка качнул ногою:

— В потребилке.

Семка видит, как Маринка не отводит зачарованного взгляда от Гришкиных калош. Сквозь вкрадчивое похрипывание гармошки снова слышит он вздрагивающий Маринкин голос:

— Почем же платили?

— Пять с полтиной.

— Пять с полтиной?..— переспрашивает Маринка, и в голосе ее ясно слышится почтительное изумление.— Такие дорогие, а вы их в пыле ватлаете...

Семка видит, как Маринка нагибается и утиркой смахивает пыль с Гришкиных калош.

Гришка поджимает ноги.

— Што ты, Мариша, брось!.. По мне, калоши — раз плюнуть. Одни сношу — капиталу и на другие хватит! Утирку вот вымазала...

— Утирка выстирается...— Маринка проглотила вздох.— У вас в станице барышни тоже небось в калошах ходют?

Гришка перекинул гармошку через плечо и завладел Маринкиной рукой.

— Они хучь и ходют, а только я на свой авторитет не найду подходящей... За мной вон одна дюже ушивается, а на какую причину она мне нужна, раз у ней ряшка как у жабы?

Гришка презрительно сплюнул, вытер рукавом губы и надолго прилип к Маринкиной щеке...

У Семки от неудобного положения затекли ноги, но сидел он за плетнем в капустной грядке словно врытый. Лишь тогда, когда белый Маринкин платок и фасонистая Гришкина фуражка сползались в кучу, Семка порывисто кивал головой и шарил возле себя дрожащими руками в надежде нащупать камень.

...Месяц, плутавший за тучами, притомился и, сгорбатившись, стал спускаться на запад. В сарае, хлопая крыльями, нагло протрубил зорю петух.

Гришка встал.

— Ну, Мариша, куда же мне завтра приходить?

Маринка поправила съехавший набок платок, ответила шепотом:

— К кузнице приходите... я подожду.

Семку, как пружиной, подкинуло: ухватился за плетень, под рукой хряпнул кол.

Маринка, ахнув, попятилась к воротам, а Гришка накочетился и стал боком.

Семка прыгнул через плетень и, махая увесистым колом, подошел к Гришке. Злоба мешала говорить, он заикался:

— Ты што же это?.. к чужим девкам?.. а?..

— Иди, иди... отчаливай!.. Ваш номер восемь, вас после спросим!..

— Нет, погоди!.. За тобой должок... посчитаемся...

— Ждать тут нечего...— протяжно сказал Гришка и, нагнув голову, не размахиваясь, стремительно качнувшись вперед, с силой ударил Семку в живот.

Жаркое удушье петлей захлестнуло горло. Едва не выронил Семка кол, но, пересиливая боль, скривил губы и размахнулся. Фуражка сорвалась с Гришкиной головы, закружилась волчком.

Удар, упавший наосклизь, пришелся по гармошке. Из разорванного меха со вздохом облегчения рванулся воздух. Не успел Гришка увернуться, как кол, взвизгнув, снова обрушился на плечо.

Через минуту вдоль улицы маячила Гришкина белая рубаха, а Семка растерянно мял в руках брошенную фуражку и, корчась, передыхая от колючего удушья, голосом, тонким и скорбным, говорил Маринке, стоявшей возле ворот:

— Сама дарила кисет... возьми его, гадюка!.. Я с тобой как с доброй, а ты калоши увидела и давай целоваться... Да я этих калош, может, двадцать имел бы... ежли бы захотел.

Маринка зевнула в кулак и, поглядывая на тускнеющие звезды, равнодушно сказала:

— Надоел ты мне, голоштанный! Совестно глядеть-то на тебя, не то што... Вон штаны-то на тебе будто собаки обнесли... весь стыд наруже, а туда же, калоши...— Еще раз зевнула до слез и, поворачиваясь к Семке спиной, досадливо упрекнула:— Куда конь с копытом, туда и ты с клешней своей... Хоть бы опорки какие себе справил, босотва боженькина!

Семка глухо оправдывался:

— Мои штаны к тебе вовсе не касаются... ты мне не указ... И насчет опорков тоже... Твоему батьке, может, вши гашник переели, я же не вступаю в ихнее дело?.. По мне, пущай его хучь с потрохами слопают!

Маринка звучно щелкнула щеколдой, стала на цыпочки и, выглядывая из двора через калитку, крикнула:

— Ты чужим вшам счет не заводи!.. Своих полно! Твоя мать весной с сумкой ходила — христарадничала... Сам — кусошник, а чужих отцов хаешь!..

Семка, не целясь, плюнул в калитку.

— Отцепись, лихоманка!.. Жалко, што канителился с тобой, целовал твои ругательные губы... Да сгори ты ясным огнем! Я, коль на то пошло, теперь лучше телушку под хвост поцелую, чем тебя, поганку!..

— Тобой, кобелем лохматым, и телушка побрезгует!..— ядовито зашипела Маринка.— Свинья тебя целовала, да три дня блевала!.. И не подходи! И на дух не нужен! Тьфу!..

Семка прислушался к глохнущим шагам и тупо уставился на ворота.

Возле Маринкиных ворот в эту ночь и умерла Семкина любовь,

родившаяся два месяца назад на слободских бахчах в вечер погожий и ласковый.

III

Утром с рассветом поехал Семка пахать. Ходил за плугом сердитый, взлохмаченный. Два раза, задумавшись, перепахал лежавшую около дорогу, за поручни держался нетвердо, и борозды распластывались неглубокие, кривые; лемехи в нетрезвом разбеге вилюжили черствую намозоленную кожу земли, лишь слегка ее обдирая, и в каждой свернут набок отполированной сталью глыбе чудился Семке блеск чьих-то калош...

Пообедав, прилег под арбу отдохнуть и, едва лишь над смеженными ресницами повиснул сон, увидел Семка себя в кругу знакомых слободских ребят, откуда-то со стороны издали любовался своими штанами, причудливо вобранными в сапоги, а там ниже, на земле, присыпанной подсолнечной шелухой, с вывертом стояли Семкины ноги, и слепило глаза неотразимое сияние его, Семкиных, собственных калош.

Сон был сладок и освежающ, а пробуждение вновь до краев налило горечью Семкино сердце.

* * *

Отец Семки перед смертью отписал ему в вечность корову с телком да хворую жену с ворохом голых детей. Мать Семкина весной ходила по миру, под окнами краюхи собирала, ребята зиму голые копошились на печке, а летом безвылазно торчали в камышастой речке — благо, там одежки-обувки не требуется. Телок на третий год выровнялся в диковинного быка-работягу, масти невиданно гнедой, собою ветвисторогий и грудастый; корова же от работы захляла, почти перестала доиться, кашляла и страдала неудержимым поносом. На этой-то худобе и работал Семка, а с такой справой да с семьей, где шестеро детей один одного нянчат, каждому известно — много не сработаешь.

Десятину пахал Семка три дня. Трое суток раздумья и вздохов легли через Семкину жизнь, как длиннющий, неезженый проследок через степь. На четвертые сутки день выпал погожий, слегка морозный. Солнце, маленькое, бескровно желтое, шло по вылинявшему небу не над слободкой, как летом, а колесило где-то в стороне, к югу.

На слободке в одном Семкином дворе пригорюнился немолоченый прикладок жита.

С утра насадили посад, у соседа добыл Семка камень-молотилку, запряг корову и бычка. Степановна — Семкина мать — перекрестилась.

— Начинай, сынок, с господом!

И молотьба «с господом» началась.

Корова часто останавливалась, остро горбатила спину и мочила хлеб зеленой вонючей жижей. Семкина мать руками торопливо сгребала дымящийся помет, заботливо выбирала для просушки каждый колосок, а Семка, желтея от злости, сильней стегал кнутом по гулким ребристым бокам коровы, и на сухой изморщиненной коже ее крест-накрест припухали частые рубцы.

Насаживая второй посад, Семка сказал:

— Корову продадим, маманя... С нее толку как с козла молока. Ни езды в ней, ни работы. Жито все перемочит, пока обмолотим, а пахать вовсе негожа.

Руки Степановны, скрюченные застарелым ревматизмом, поднялись и бессильно упали.

— Очумел ты, Семушка? А ребят кормить чем будем? Молоко одно и душу в теле держит.

— Корова вот-вот отобьет, а ребята тыквой будут оправдываться.

— С тыквы у них животы вон пухнут...

Семка с сердцем кинул в намолоченный ворох грабли.

— А што зиму-то будем жрать? Хлеба видишь сколько? Сама посуди: намолотили пудов двадцать, до святок пожуем, а там зубы на полку?..

— Может, бычка бы... Бычка бы, Сема, может, продали?..

— Постой, это как же?— бледнея, дрогнувшим голосом спросил Семка.— Тогда, значит, на землю плюнуть приходится? Пахать не на чем и убирать... Как же можно так говорить?..

— Ну, а без коровы дети подохнут!— отрезала мать. На том разговор и кончился.

IV

Каждый месяц восемнадцатого числа в станице — рынок. С окружных хуторов и станиц сгоняют казаки скот, со станции наезжают скупщики, тут же на рыночной площади разбивают купцы дощатые лавки, на прилавках шелестят пахучие ситцы, возле кожевенных лавок бородатые станичники пробуют доброту кожи на зуб, «страдают» карусельные гармошки, на обливных горшках вызванивают горшечники, девки, взлетая на лодочках, визжат и нескромно мигают подолами, цыгане мордуют лошадей, в шинках казаки выпивают «за долгое свидание». Рынок пахнет медом, дублеными овчинами, конским пометом.

Запахи, невыразимо разнородные, терпкие и солоноватые, наносит ветерок с рыночной площади. Два дня над станицей прибойным гулом стонет многоголосый рев.

В день рынка, утром, спросила у Семки мать:

— Поведешь продавать бычка аль нет?

Семка, обжигаясь, чистил вареную картошку. На материн

вопрос промолчал, подул на пальцы и ладонью смел с колен картофельную кожуру.

Степановна, гремя у печки рогачами, говорила:

— Ежели б продали бычка рублей за пятьдесят, хлеба на зиму подкупили бы... Тебе, сынок, штаны справить край надо и мне рубаху, а то тело все на виду... Да ребятам купили бы дешевенького. Сапожки бы — хоть одни на всех... Ваньке вон в школу ходить надо. Зима заходит, а он разутый.

Горячей картошки обожгла-кольнула Семку мыслишка: «Калоши можно купить!..»

Трудно двигая кадыком, пропихнул в горло недожеванный кусок, и от мысли этой как будто что-то екнуло и оборвалось под сердцем. Маринка, Гришка, мать, бычок, калоши словно на карусели поплыли перед глазами. Мать еще говорила глухо и монотонно, как по Псалтырю читала, а Семка уже вскочил, с треском рваный зипун напялил и к дверям — как обморок его шибанул.

— Помоги взналыгать бычка! Слышь, маманя? Да поживей!..

V

Семка тянул бычка за налыгач, сзади воробьиной ватагой сыпали ребятишки, с визгом подгоняли хворостинами норовистого быка, а тот упирался, неистово мотал головой и негодовал низким, трубным голосом.

На рынке возле возов лежат привязанные быки и коровы, дремотно движутся их нижние челюсти, перетирая слюнявую жвачку, пар идет из-под лохматых животов, пригревших сырую землю.

Мимо прохаживают шибаи с длинными пастушечьими костылями. Сапогом толкает купец облюбованного быка и заходит наперед. Бык, кряхтя, ставит на колени передние ноги, потом тяжело упирается раздвоенными копытами в слизистую грязь и упруго поднимает зад. Привычными пальцами быстро и толково щупает купец грудь, ноги, спину, засматривает в рот — не съедены ли старостью зубы, хлопает с хозяином по рукам, божится, кидает оземь шапку.

Семкин бык, привязанный к забору, вскоре привлек внимание рыжего купца. Подошел к Семке.

— Ты хозяин?

— Я.

— Сколько просишь?— А сам на Семку и не взглянет. Топчется вокруг быка, всего излапал крючковатыми пальцами и глазами, резво шнырявшими под рыжей крышей бровей.

— Семьдесят!— бухнул Семка.

— Может, со всем с тобой?— беззубо ощерился купец.

— Проваливай, коли так!..

Семка исподлобья глянул вслед уходившему купцу. Тот повернулся боком.

— Говори окончательную цену!.. Шестьдесят берешь? Нет? Ну, посиди с бычком, может, бог даст, домой отведешь, все целей будет.

— Поди побреши, этим и кормишься!— обиделся Семка.

Поколесив по рынку, рыжий в сопровождении седого хохла подходит вновь.

— Ну, как, надумал?

— Семьдесят!— уперся Семка.

Через полчаса охрипший купец сует Семке в дрожащую руку две червонные бумажки (на левых углах ражие дяди высевают зерно из лукошек). Тут же, между возами, пьют магарыч. Купец, запрокинув голову, тянет из темной бутылки, и не поймет Семка, где это булькает: то ли в горлышке бутылки, то ли в глотке купца. Бутылка переходит в Семкины руки. Рот и желудок обжигает влажное тепло, в нос ширяет самогонным дымком. Так много не пил он никогда.

— Ну, в час добрый!..— прожевывая черствый бублик, сипит купец.— Ценой мы тебя не обидели... Корму нонешний год нету, зимой за так отдал бы!

— Бычок мой...— Голос у Семки дрожит, дрожат и ноги.— Не бычок, а кормилец... кабы не нужда, сроду не продал бы!..

Рыжий подмигивает хохлу:

— Что и толковать... На свете дураки — одни быки, да казаки. Бык работает на казака, а казак на быка, так всю жисть один на одном и ездят!

Рыжий отвязывает быка и гогочет, а Семка в руке жмет деньги; рука в кармане, как белогрудый стрепет в осилке. Ноги послушно несут к лавкам, в голове, затуманенной хмелем, одна лишь мысль: «Надену и мимо Маришкиного двора; пущай смотрит, стерва... Не одному Гришке калоши иметь!..»

Купец мягко перегнулся через прилавок.

— Чего прикажете, молодой человек?

— А мне бы эти... как их... калоши!..

Семка старается обуздать свой голос, но звуки ползут из горла чудовищно громкие, несуразные. Семка чувствует, что на него смотрят и останавливаются идущие мимо люди.

— Вам какой номер прикажете?..— слышит он откуда-то издалека тусклый голос и напрягает легкие, чтобы его слышали.

— Мне без номера... Чистые калоши подавай!..

Маленькие заплывшие глазки купца словно масло Семке на сердце льют. Голос вежливый, ласковый, так никто никогда не говорил с ним, и от этого Семка растроган почти до слез.

— Друг!.. Уважь мне калоши, только без номера... Я заплачу... Лишь бы были чистые, без номеров...

Семка не видит ехидной улыбки, тлеющей в глазах купца.

— Вам сапожки бы надо, на голых ногах кто же калоши носит? Зайдите вот сюда — примерьте. Товарец — что-нибудь особенное!.. Раскошные сапоги!..

Как сквозь сон Семка чувствует чьи-то услужливые руки, помогающие ему надеть пахучие яловочные сапоги. Потом за брезентовой ширмочкой на голое тело ему со скрипом напяливают колючие суконные штаны и длиннополый пиджак. Лохмотья Семкины приказчик брезгливо заворачивает в газету и сует ему под мышку, а Семка качается, обнимает круглую спину приказчика и смеется счастливым, беспричинным смехом.

— Сюртучком будете довольны... Настоящее суконцо, довоенное.

Глаза ласкают Семку, и голос, каким за всю жизнь никто никогда не говорил с ним, без мыла ползет в душу.

— Разрешите и фуражечку примерить?

Семка плачет слезами счастья и подставляет голову.

— Братцы!.. Да я хоть в могилу!.. Деньги — прах их побери!.. Калоши мне дороже... Получай!..

Из Семкиного кулака на пол мягко шлепаются скомканные, влажные от пота кредитки.

Купец быстренько подбирает их, стучит в ящике медью и с шестидесяти рублей сует Семке в карман сдачу — зеленый полтинник и две сверкающие медные копейки. Изъеденный молью пышный картуз нахлобучивают Семке на голову, и глаза, до этого ласковые и приветливые, сверлят Семку острыми буравчиками. Голос грубо рявкает над самым ухом:

— Пошел к черту, сукин сын! Пьяная сопля! Живо!

Кто-то поддает сзади коленом, и Семка с застывшей пьяной улыбкой летит из-за прилавка и мешковато падает в грязь. Трудно поднялся, рот раскрыл в похабном ругательстве, но вдруг прямо перед собой увидал Маринку, под праздничным платочком смеющиеся глаза и щеки, блестящие от огуречной помады.

Как в мутном тумане, бродил с нею по рынку, на последний полтинник купил угощенье — ослизлых конфет, где-то падал и больно ушибся, но помнил твердо, что все время на него лучился Маринкин восхищенный взгляд. Шел, спотыкаясь и широко разбрасывая ноги, в сумчатых галифе, разбрызгивая грязь блестящими калошами. Маринка шла немного сзади, просила шепотом:

— Семка, ну, не надо!.. Не шуми, люди на нас глядят!.. Сема, совестно ить.

Вечером возле «столовки» плясал Семка казачка и пил с чужими казаками самогон, а перед зарею, шатаясь, добрел до дома и резко постучал в окно.

Мать, кутаясь в лохмотья, отворила дверь и испуганно отшатнулась.

— Кто такой? Кого надо?

— Это я, маманя...

Чуя недоброе, унимая дрожь, молча пропустила Семку и зажгла огарок. На печке дружно сопели ребята, трещал и чадил огонь.

— Продал бычка?— спросила, и мелкой дробью лязгнули зубы.

— Продал бычка... я продал... да...

— А деньги?!

— Деньги? Вот они.

Семка скривил губы улыбкой и полез рукой в карман. В тишине слышно, как судорожно скребут внутри кармана пальцы. Глухо звякнула медь.

К порожнему карману, где шарила Семкина рука, пристыла мать немигающим взглядом. Покачиваясь, опираясь на стол, вырвал из кармана Семка две медные сверкающие копейки и кинул на земляной пол. Одна из них закружилась желтым светлячком и, звякнув, покатилась под лавку.

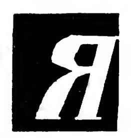
С хрипом упала мать на колени, ноги Семкины обхватила, голосила по-мертвому и билась седой головой об пол.

— Родимый!.. Сы-ну-у-ушка! Да как же?! Охо-хо-хо-о! И што же ты наде-е-елал?!

Семка, дергая ногами, пятился к дверям, а она ползла за ним на коленях, от толчков мотала вывалившимися из прорехи узенькими иссохшими грудями, синея, давилась криком, и на измазанные Семкины калоши текли слезы.

1926

ЧЕРВОТОЧИНА



ков Алексеевич — старинной ковки человек: ширококостый, сутуловатый; борода как новый просяной веник,— до обидного похож на того кулака, которого досужие художники рисуют на последних страницах газет. Одним не схож — одежей. Кулаку, по занимаемой должности, непременно полагается жилетка и сапоги с рыпом, а Яков Алексеевич летом ходит в холщовой рубахе, распоясавшись и босой. Года три назад числился он всамделишным кулаком в списках станичного Совета, а потом рассчитал работника, продал лишнюю пару быков, остался при двух парах да при кобыле, и в Совете в списках перенесли его в соседнюю клетку — к середнякам. Прежнюю выправку не потерял от этого Яков Алексеевич: ходил важной развалкой, так же, по-кочетиному, держал голову, на собраниях, как и раньше, говорил степенно, хриповато, веско.

Хоть урезал он свое хозяйство, а дела повел размашисто. Весной засеял двадцать десятин пшеницы; на хлебец, сбереженный от прошлогоднего урожая, купил запашник, две железные бороны, веялку. Известно уж, кто весной последнее продает: кому жевать нечего.

По всей станице поискать такого хозяина, как Яков Алексеевич: оборотистый казак, со смекалкой. Однако и у него появилась

червоточина: младший сын Степка в комсомол вступил. Так-таки без спроса и совета взял да и вступил. Доведись такая беда на глупого человека — быть бы неурядице в семье, драке, но Яков Алексеевич не так рассудил. Зачем парня дубиной обучать? Пусть сам к берегу прибивается. Изо дня в день высмеивал нонешнюю власть, порядки, законы, желчной руганью пересыпал слова, язвил, как осенняя муха; думал, раскроются у Степки глаза,— они и раскрылись: перестал парень креститься, глядит на отца одичалыми глазами, за столом молчит.

Как-то перед обедом семейно стали на молитву. Яков Алексеевич, разлопушив бороду, отмахивал кресты, как косой по лугу орудовал; мать Степкина в поклонах ломалась, словно складной аршин; вся семья дружно махала руками. На столе дымились щи; хмелинами благоухал свежий хлеб. Степка стоял возле притолоки, заложив руки за спину, переступая с ноги на ногу.

— Ты человек?— помолившись, спросил Яков Алексеевич.

— Тебе лучше знать...

— Ну, а если человек и садишься с людьми за стол, то крести харю. В этом и разница промеж тобой и быком. Это бык так делает: из яслев жрет, а потом повернулся и туда же надворничает.

Степка направился было к двери, но одумался, вернулся и, на ходу крестясь, скользнул за стол.

За несколько дней пожелтел с лица Яков Алексеевич; похаживая по двору, хмурил брови; знали домашние, что пережевывает какую-нибудь мыслишку старик, недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом. Мать как-то шепнула Степке:

— Не знаю, Степушка, что наш Алексеевич задумал... Либо тебе какую беду строит, либо кого опутать хочет...

Степка-то знал, что на него готовит отец поход, и, притаившись, подумывал, куда направить лыжи в том случае, если старик укажет на ворота.

В самом деле, есть о чем подумать Якову Алексеевичу: будь Степке вместо двадцати пятнадцать годов, тогда бы с ним легко можно справиться. Долго ли взять из чулана новые ременные вожжи да покрепче намотать на руку? А в двадцать годов любые вожжи тонки будут; таких оболтусов учат дышлиной, но по теперешним временам за дышлину так прискребут, что и жарко и тошно будет. Как тут не кряхтеть старику по ночам и не хмурить бровей в потемках?

Максим — старший брат Степки, казак ядреный и сильный,— по вечерам, выдалбливая ложки, спрашивал Степку:

— А скажи, браток, на чуму тебе сдался этот комсомол?

— Не вяжись!— рубил Степка.

— Нет, ты скажи,— не унимался Максим.— Вот я прожил двадцать девять лет, больше твово видал и знаю и так полагаю, что пустяковина все это... Разным рабочим подходящая штука, он восемь часов отдежурил — и в клуб, в комсомол, а нам, хлеборобам, не рука... Летом в рабочую пору протаскаешься ночь, а днем какой

из тебя работник будет?.. Ты по совести скажи: может, ты хочешь службу какую получить, для этого и вступил?— ехидно спрашивал Максим.

Степка, леднея, молчал, и губы у него дрожали от обиды.

— Ерундовская власть. Нам, казакам, даже вредная. Одним коммунистам житье, а ты хоть репку пой... Такая власть долго не продержится. Хоть и крепко присосались к хлеборобовой шее разные ваши комсомолы, а как приспеет время, ажник черт их возьмет!

На потном лбу Максима подпрыгивала мокрая прядка волос. Нож, обтесывая болванку, гневно метал стружки. Степка, бесцельно листая книгу, угрюмо сопел: ему не хотелось ввязываться в спор, потому что сам Яков Алексеевич прислушивался к словам Максима с молчаливым одобрением, видимо ожидая, что скажет Степка.

— Ну, а если, не приведи бог, какой переворот? Тогда что будешь делать?— хищно поблескивая зубами, щерился Максим.

— Зубы повыпадут, покель дождешься переворота!

— Гляди, Степка! Ты уж не махонький... Игра идет «шиб-прошиб», промахнешься — тебя ушибут! Да случись война или ишо что, я первый тебя драть буду! Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду... До болятки!

— И следовает!— подталдыкивал Яков Алексеевич.

— Пороть буду, вот те крест!..— подрагивая ноздрями, гремел Максим.— В германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой,— рабочие там бунтовались. Приехали мы перед вечером, въезжаем в ворота, а народу возле конторы — тьма. «Братцы казаки, шумят, становитесь в наши ряды!» Командир сотни — войсковой старшина Боков — командует: «В плети их, сукиных сынов!..»

Максим захлебнулся смехом и, багровея, наливаясь краской, долго раскатисто ржал.

— Плеть-то у меня сыромятная, в конце пулька зашита... Выезжаю вперед, как гаркну забастовщикам этим: «...Вставай, подымайся, рабочий народ! Приехали казаки вам спины пороть!» Попереди всех старичишка в картузе стоял, так, седенький, щупленький... Я его как потяну плетью, а он — копырь и упал коню под ноги... Что там было...— суживая глаза, тянул Максим.— Бабья этого лошадьми потоптали — штук двадцать. Ребята осатанели и уж за шашки взялись...

— А ты?— хрипло спросил Степка.

— Кое-кому вложил память!

Степка спиной прижался к печке. Прижался крепко-накрепко, сказал глухо:

— Жалко, что не шлепнули тебя, такого гада!..

— Это кто же гад?

— Ты...

— Кто гад?— переспросил Максим и, кинув на пол необтесанную ложку, поднялся со скамьи.

Ладони у Степки взмокли теплым потом. Стиснул кулаки, ногти въелись в тело, и уже твердо сказал:

— Собака ты! Каин!

Максим, вытянув руку, сжал в комок рубаху на груди у Степки, рывком оторвал его от печки и кинул на кровать. Ненависть варом обожгла парня. Метнулся в сторону, в пальцах Максима оставил ворот рубахи, взмахнул кулаком... Хлесткий удар в щеку свалил Степку с ног. Левой рукой Максим мял ему горло, правой размеренно бил по щекам. Степка чувствовал над собой частое дыхание брата, видел холодную и такую ненужную улыбку на его губах, от каждого удара захватывало дыхание, звон колол уши, из глаз текли слезы. Крик обиды за невольные слезы, за улыбку Максима застревал в стиснутом горле... Из разбитых губ текла кровь. Вращая выпученными глазами, Степка кровью плевал в лицо брата, но тот отворачивал в сторону голову, показывая бритую жилистую шею, и так же размеренно, молча кидал шершавую ладонь на вспухшие щеки Степки...

Выждав время, разнял их сам Яков Алексеевич. Максим, все так же улыбаясь, поднял с земли недоделанную ложку, сел возле окна. Степка вытер рукавом окровяненные губы, надел шапку и вышел, тихонько притворив за собой дверь.

— Ему это на пользу... Пущай за борозду не залазит, а то он скоро и до отца доберется!— заговорил Максим.

Яков Алексеевич задумчиво мял бороду, хмурился, поглядывая на мокрое от слез лицо старухи.

* * *

Наутро Максим первым затеял разговор.

— Пойдешь в Совет жалиться?— спросил он Степку.

— Пойду!

— А по-семейному это будет?

Степка глянул на посеревшее лицо Максимовой жены, на мать, утиравшую глаза завеской, и промолчал. Про себя решил снести обиду, молчать.

С этого дня надолго легла в доме нудная тишина. Бабы говорили шепотом. Яков Алексеевич, пасмурный, как ноябрьский рассвет, молчал; Максим — виновато улыбаясь, заговаривал со Степкой:

— Ты, браток, не всякую лыку в строку. Мало ли чего не бывает в семье... А все это через твой комсомол! Брось ты его к чертовой матери! Жили без него, да и теперь проживем. Какая тебе нужда переться туда? Отцу вон соседи в глаза лезут: «Что ж, мол, Степка-то ваш в комсомолисты подался?» А старику ить совестно... Опять же жениться тебе, какая девка без венца пойдет? Хлюстанку брать?

Степка отмалчивался, уходил на баз. По вечерам шел на пло-

щадь, в клуб. Под хрипенье поповской фисгармонии думал невеселые думки.

А на станицу напористо перла весна. На девичьих щеках появились веснушки, на вербах — почки. По улицам отзвенело весеннее половодье. Неприметно куда ушел снег, под солнечным пригревом дымилась, таяла в синеве бирюзовая степь. В степных ярах, в буераках, вдоль откосов еще лежал снег, поганя землю своей несвежей, излапанной ветрами белизной, а по взгорьям, по лохматым буграм уже взбрыкивали овцы, степенно похаживали коровы, и зеленые щепотки травы, пробиваясь сквозь прошлогоднюю блеклую старюку, пахли одурманивающе и нежно.

Пахать выехали в средине марта. Яков Алексеевич засуетился раньше всех. С масленицы начал подсыпать быкам кукурузу, кормил сытно, по-хозяйски.

Солнце еще не выпило из земли жирного запаха весенней прели, а Яков Алексеевич уже снаряжал сынов, и в четверг, чуть рассвело, выехали в степь. Степка погонял быков, Максим ходил за плугом. Два дня жили в степи за восемь верст от дома. По ночам давили морозы, трава обрастала инеем, земля, скованная ледозвоном, отходила только к полудню, и две пары быков, пройдя два-три загона, становились на постав, над мокрыми спинами клубами пенился пар, бока тяжело вздымались. Максим, очищая с сапог налипшую грязь, косился на отца, хрипел простуженным голосом:

— Ты, батя, сроду так... Ну, рази это пахота? Это увечье, а не работа! Скотину порежем начисто... Ты погляди кругом: окромя нас, пашет хоть одна душа?

Яков Алексеевич палочкой скреб лемеши, гундосил:

— Ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так-то говорят старые люди, а ты, молодой, разумей!

— Какая там пташечка!— кипятился Максим.— Она, эта самая пташечка, будь она трижды анафема, не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду, а ты, батя... Да что там... Кхе-кхе... Кхе!..

— Ну, отдохнули, трогай, сынок, с богом!

— Чего там трогай, налево кругом — и марш домой!

— Трогай, Степан!

Степка арапником вытягивал сразу обоих борозденных. Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи.

* * *

С того дня, как стал Степка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. Яков Алексеевич открыто говорил:

— Теперь, Степан, не будет прежнего ладу. Ты нам навроде как чужой стал... Богу не молишься, постов не блюдешь, батюшка с молитвой приходил, так ты и под святой крест не подошел... Разве ж это дело? Опять же хозяйство,— при тебе слово лишнее опасаешься сказать... Раз уж завелась в дереве червоточина — погибать

ему, в труху превзойдет, ежели вовремя не вылечить. А лечить надо строго, больную ветку рубить, не жалеючи... В Писании и то сказано.

— Мне из дому идтить некуда,— отвечал Степка.— На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки.

— Из жилья мы тебя не выгоняем, но поведение свое брось! Нечего тебе по собраньям шляться, на губах еще не обсохло, а ты туда же, рот разеваешь. Люди в глаза мне смеются через тебя, поганца.

Старик, разговаривая со Степкой, багровел, едва сдерживал волнение, а Степка, глядя в холодные отцовы глаза, на жесткие позвериному изломы губ, вспоминал упреки ребят-комсомольцев: «Обуздай отца, Степка. Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственные орудия. Стыдно!»

И Степка, вспоминая, действительно краснел от жгучего стыда, чувствовал, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному дёру — к человеку, который зовется его отцом.

Будто каменной глухой стеной отгородилась от Степки семья. Не перелезть эту стену, не достучаться.

Отчуждение постепенно переходило в маленькую сначала злобу, а злобу сменила ненависть. За обедом, случайно подняв глаза, встречал Степка леденистые глаза Максима, переводил взгляд на отца и видел, как под сумчатыми веками Якова Алексеевича загораются злобные огоньки, в руке начинает дрожать ложка. Даже мать и та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошеные слезы жгли глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрепясь, наскоро дообедывал и уходил из дому.

По ночам часто Степке снился один и тот же сон: будто хоронят его где-то в степи, под песчаным увалом. Кругом незнакомые, чужие люди, на увале растут сухобылый бурьян и остролистый змеиный лук. Отчетливо, как наяву, видел Степка каждую веточку, каждый листик...

Потом в яму бросали его, Степкино, мертвое тело и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный ком падает на грудь, за ним другой, третий... Степка просыпался, ляская зубами, со стесненной грудью, и, уже проснувшись, дышал глубокими частыми вздохами, словно ему не хватало воздуха.

* * *

На время кончились полевые работы. Степь пустовала без людей, лишь на огородах маячили цветные платки баб. По вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов. Перезвоны гармошек подолгу бродили за станицей, там, где урубом кончается

степь и начинается пухлая синь неба. Подходил покос. Трава вымахала в пояс человеку. На остреньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалась соком сурепка, в логах кучерявился конский щавель.

Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку, по ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, на вольные земли станичного фонда. Гасли звезды, пепельно серело небо, зорю выбивал перепел; просыпаясь под арбой, Степка слышал, как по росе цокотала косилка, выкашивая краденую траву.

Сена набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за беремя сена взять добрые деньги, а если денег нет, то и телушку-летошницу с база на свой баз перегнать. Вот поэтому-то Яков Алексеевич и вывершил прикладок вышиной в три косовых. Злые люди поговаривали, что и чужого сенца прихватил ночушкой Яков Алексеевич, но ведь не пойманный — не вор, а так мало ли какую напраслину можно на человека взвалить...

* * *

В субботу затемно пришел Прохор Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и заискивающе улыбался.«Пришел быков у отца просить»,— подумал Степка. Сквозь изодранные мешочные штаны Прохора проглядывало дряблое тело, босые ноги сочились кровью, в глубоких глазницах тускло, как угольки под золою, тлели слегка раскосые черные глаза. Взгляд их был злобно-голоден и умоляющ.

— Яков Алексеевич, выручи, ради Христа! Отработаю.

— А что у тебя за беда?— спросил тот, не вставая с кровати.

— Быков бы мне на день... Сено перевезть. Завтра день праздничный... а я бы перевез... Разворуют сено-то!

— Быков не дам!

— Ради Христа!

— Не проси, Прохор, не могу. Скотина мореная.

— Уважь, Яков Алексеевич. Сам знаешь, семья... чем коровенку зимовать буду? Бился, бился, не косил, а по былке выдергивал...

— Дай быков, отец!— вмешался Степка.

Прохор метнул в его сторону благодарный взгляд, суетливо моргая глазами, уставился на Якова Алексеевича. Неожиданно Степка увидел, что колени у Прохора мелко подрагивают, а он, желая скрыть невольную дрожь, переступает с ноги на ногу, как лошадь, посаженная на передок; чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледнел, выкрикнул лающим голосом:

— Дай быков! Что жилы тянешь!..

Яков Алексеевич насупил брови.

— Ты мне не указ. А коли такой желанный, то езжай в праздник сено вози! Своих быков в чужие руки я не доверяю!

— И поеду.
— Ну, и езжай!
— Спасибочко, Яков Алексеевич!— Прохор выгнулся в поклоне.
— Спасибо — спасибом, а молотьба придет — на недельку приди, поработаешься.
— Приду.
— То-то, гляди!

* * *

В воскресенье, едва засветлел рассвет, под окнами хат и хатенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца.
— Ты чего спозаранку томашишься?
— Рассвенется, приходи в школу на собрание.— Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятно пробурчал:— Статист приехал посевы записывать... Для налогу... Вот какие дела... Прощевайте!
Пошел к калитке, на ходу чиркая спичкой, громыхая сыромятными чириками. Яков Алексеевич задумчиво помял бороду и, обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул:
— Быков повремени давать Прохору. Нынче утром собрание всчет налога. Статист приехал. Пойдем обое со Степкой. Он комсомолист, может, ему какая скидка выйдет. Что же, задарма он, что ли, обувку отцовскую бьет, по клубам шатается.
Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу.
— Ты гляди, на старости лет не сдури... Записывай замест двадцати десятин — шесть либо семь.
— Нашел, кого учить,— усмехнулся Яков Алексеевич.
За завтраком Яков Алексеевич небывало ласковым голосом сказал Степке:
— С Прохором поедешь за сеном на ночь, а зараз одевай праздничные шаровары и пойдем на собрание.
Степка промолчал. Позавтракал и, ни о чем не спрашивая, пошел с отцом. В школе народу — как колосу на десятине в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, спросил:
— Сколько десятин посева?
Яков Алексеевич, помолчав, деловито прижмурил глаз.
— Жита две десятины,— на левой его руке палец пригнулся к ладони,— проса одна десятина,— согнулся другой растопыренный палец,— пшеницы четыре десятины...
Яков Алексеевич придавил третий палец и поднял глаза к потолку, словно что-то про себя подсчитывая. В толпе кто-то хихикнул; покрывая смех, кто-то густо кашлянул.
— Семь десятин?— спросил статистик, нервно постукивая карандашом.

— Семь,— твердо ответил Яков Алексеевич.

Степка, расчищая локтями дорогу, прорвался к столу.

— Товарищ!— Голос у Степки суховато-хриплый, рвущийся.— Товарищ статист, тут ошибка... Отец запамятовал...

— Как запамятовал?— бледнея, крикнул Яков Алексеевич.

— ...запамятовал еще один клин пшеницы... Всего двадцать десятин посеву.

В толпе глухо загудели, зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули:

— Верна! Правильна! Брешет Яков... у него три раза по семь будет!..

— Что же вы, гражданин, вводите нас в заблуждение?— Статистик вяло сморщился.

— Кто его знает... Враг попутал... верно, двадцать... Так точно... Вот, боже ты мой... Скажи на милость, запамятовал...

Губы у Якова Алексеевича растерянно вздрагивали, на посиневших щеках прыгали живчики. В комнате стояла неловкая тишина. Председатель что-то шепнул статистику на ухо, и тот красным карандашом зачеркнул цифру «7» и вверху жирно вывел — «20».

* * *

Степка забежал к Прохору, и через сады, торопясь, дошли до дому.

— Ты, брат, поспешай, а то придет отец с собрания, быков ни черта не даст!

На-скорях выкатили из-под навеса арбы, запрягли быков. Максим с крыльца крикнул:

— Записали посев?

— Записали.

— Что же, сделали тебе какую скидку?

Степка, не поняв вопроса, промолчал. Выехали за ворота. От площади к проулку почти рысью трусил Яков Алексеевич.

— Цоб!

Кнут заставил быков прибавить шагу. Две арбы с опущенными лестницами, мягко погромыхивая, потянулись в степь.

Возле ворот запыхавшийся Яков Алексеевич махал шапкой.

— Во-ро-чай-ся!— клочьями нес ветер осипший крик.

— Не оглядывайся!— крикнул Степка Прохору и приналег на кнут.

Арбы спустились, как нырнули, в яр, а от станицы, от осанистого дома Якова Алексеевича, все еще плыл тягучий рев:

— Вер-ни-ись, су-кин сы-ын!..

* * *

Затемно доехали до Прохоровых копен. Распрягли быков, пустили их щипать огрехи на скошенной делянке. Наложили возы сеном и порешили ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой.

Прохор, утоптав второй воз, там же свернулся клубком, поджал ноги и уснул. Степка прилег на землю. Накинув зипун от росы, лежал, глядя на бисерное небо, на темные фигуры быков, щипавших нескошенную траву. Парная темь точила неведомые травяные запахи, оглушительно звенели кузнечики, где-то в ярах тосковал сыч.

Неприметно как — Степка уснул.

Первым проснулся Прохор. Мешковато упал с воза, присел над землей, вглядываясь, не видно ли где быков. Темнота густая, фиолетовая, паутиной оплетала глаза. Над логом курился туман. Дышло Большой Медведицы торчало, опускаясь на запад.

Шагах в десяти Прохор наткнулся на спавшего Степку.

Тронул рукою зипун, шерсть, взмокшая леденистой росой, приятно свежила руку.

— Степан, вставай! Быков нету!..

Пропавших быков искали до вечера. Исколесили степь кругом на десять верст, облазили все буераки, истоптали пышный цвет нескошенных трав по логам и балкам. Быки — как сквозь землю провалились. Перед вечером сошлись возле осиротелых возов, и почерневший, осунувшийся Прохор первый спросил:

— Что делать?

Голос его звучал глухо. Раскосые беспокойные глаза слезливо моргали...

— Не знаю,— с тяжелым равнодушием ответил Степка.

* * *

Яков Алексеевич глянул на солнце, чихнул и позвал Максима.

— Не иначе, обломались в яру. Вечер на базу, а их нету... Приедет, проклятый,— поучим, да хорошенько. За посев поблагодарить надо... Оказал отцу помочь. Воспитал змеиного выродка...— И, багровея, рявкнул:— Запрягай кобылу!.. Поедем встренем!..

Еще издали Максим увидел возле возов с сеном недвижно сидящих Степку и Прохора.

— Батя!.. Гля-ко, никак, быков нету...— шепнул он упавшим голосом.

Яков Алексеевич согнул ладонь лодочкой, долго вглядывался: разглядев, стегнул кнутом кобылу. Повозка заметалась по кочковатой целине. Максим, причмокивая, махал вожжами.

— Где быки?— покрывая стукотню колес, загремел Яков Алексеевич.

Повозчонка стала около переднего воза. Максим на ходу спрыгнул, осушил ноги и, морщась, быстро подошел к Степке.

— Быки где?

— Пропали...

Страшный в зверином гневе, повернулся к бегущему отцу Максим, заорал исступленно:

— Пропали быки, батя!.. Твой сынок... разорили нас!.. По́ миру с сумкой!

Яков Алексеевич с разбегу ударил побелевшего Степку и повалил его наземь.

— Убью!.. Зоб вырву!.. Признавайся, проклятый: продал быков?! Тут небось купцы.. ждали... Через это и охотился за сеном ехать!.. Го-во-ри!..

— Батя!.. Батя!..

В стороне Максим катал по земле Прохора. Бил сапогами в живот, грудь, голову. Прохор закрывал ладонями лицо и глухо мычал.

Выхватив из во́за вилы, Максим вздернул Прохора на ноги, сказал просто и тихо;

— Признайся: продали со Степкой быков? Сговорено дело было?

— Братушка!.. Не греши...— Прохор поднимал руки, и кровь, густая, синевато-черная, ползла у него из разбитого рта на рубаху.

— Не скажешь?..— шепотом просипел Максим.

Прохор заплакал, икая и дергаясь головой... Зубья вил легко, как в копну сена, вошли ему в грудь, под левый сосок. Кровь потекла не сразу...

Степка бился под отцом, выгибаясь дугою, искал губами отцовы руки и целовал на них вспухшие рубцами жилы и рыжую щетину волос...

— Под сердце... бей...— хрипел Яков Алексеевич, распиная Степку на мокрой, росистой, земле...

* * *

Домой приехали затемно. Яков Алексеевич всю дорогу лежал вниз лицом. На ухабах голова его глухо стукалась в днище повозки. Максим, бросив вожжи, обметал со штанов невидимую пыль. Не доезжая до хутора, скороговоркой кинул:

— Приехали, мол, а они лежат побитые. Не иначе, мол, порешили их из-за быков... А быков взяли...

Яков Алексеевич промолчал. У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена. Почесывая под домотканой юбкой большой обвислый живот (ходила она на сносях), сказала с ленивым сожалением:

— Зря вы кобылу-то гоняли... Быки, вон они, домой пришли, проклятые. Что же Степка-то, аль остался искать?

И, не дождавшись ответа, крестя рот, раззявленный зевотой, пошла в дом тяжелой, ковыляющей походкой.

1926

БАТРАКИ

I

подножья крутолобой коричневой горы, в вербах, густо поднявшихся по обеим сторонам речки, между садами, обнесенными старыми замшелыми плетнями, жмутся, словно прячутся от докучливых взоров проезжих и прохожих, домики поселка Даниловки.

В поселке сотня с лишним дворов. По главной улице вдоль речки размашисто и редко поосели дворы зажиточных мужиков. Едешь по улице, и сразу видно, что основательные хозяева живут: дома крыты жестью и черепицей, карнизы с зубчатой затейливой резьбой, крашенные в голубое ставни самодовольно поскрипывают под ветром, будто рассказывают о сытой и беспечальной жизни хозяев. Ворота на этой улице — дощатые, надежные, плетни новые, во дворах сутулятся амбары, и на проезжего, гремя цепями, давясь злобным хрипеньем, брешут здоровенные собаки.

Другая улица, кривая и тесная, лежит на взгорье, обросла вербами, словно течет под зеленой крышей деревьев, и ветер гоняет по ней волны пыли, крутит кружевным облаком золу, просыпанную у плетней. На второй улице не дома, а домишки. Неприкрытая нужда высматривает из каждого окна, из каждого подворья, обнесенного реденьким, ветхим частоколом.

Лет пять назад пожар догола вылизал постройки на второй улице. Вместо сгоревших деревянных домов слепили мужики саманные хатенки, кое-как пообстроились, но с той поры нужда навовсе прижилась у погорельцев, глубже глубокого пустила корни...

В пожаре пропал весь сельскохозяйственный инвентарь. В первую весну как-то обработали землю, но неурожай раздавил надежды, сгорбатил мужичьи спины, по ветру пустил думки о том, что как-нибудь удастся поправиться, выкарабкаться из беды. С того времени пошли погорельцы пó миру горе мыкать: ходили «христарадничали», уходили на Кубань, на легкие хлеба; но родная земля властно тянула к себе: возвращались в Даниловку и, ломая шапки, вновь шли к зажиточным мужикам:

— Возьми в работники, хозяин... За кусок буду стараться.

II

Утром, чуть свет, к Науму Бойцову пришел попа Александра работник. Наум запрягал в повозку выпрошенную у соседа лошадь и не слыхал шагов подходившего работника. Думая о чем-то своем, дрогнул от неожиданно громкого приветствия:

— Здорово, дядя Наум!

Наум оглянулся и, затянув супонь, дотронулся свободной левой рукой до шапки.

— Здорово. Зачем пожаловал?

Работник, обрадованный тем, что вырвался от хозяйства, присел на опрокинутую убогую борону и, натягивая на ладонь рукав рубахи, вытер со лба пот.

— Дело к тебе имеем,— не спеша начал он, как видно собираясь долго и обстоятельно поговорить.

— Какое там дело?— хлопоча над лопнувшей вожжой, спросил Наум.

— Оно видишь, какое дело, я попу свому давно говорю: «Вы, батюшка, коли хотите жеребчика подрезать, так вы...»

— Ты не мусоль!— отрезал Наум.— Жеребца надо подрезать, что ль? Так и говори, а то мне некогда — зараз на поле еду.

— Ну да, жеребца,— недовольно закончил работник.

— Скажи: сейчас приду.

Работник нехотя встал, отряхнул со штанов прилипшую свеженькую стружечку и, глядя себе под ноги, равнодушно сказал:

— Хвалят тебя в округе: коновал, мол, хороший... Оно и точно, а сам собою человек ты неласковый... Никакого с тобой приятного разговору нельзя иметь. Грубый ты и обрывистый человек!..

— Ну, брат, извиняй, таким мать родила!

— Я что ж... Конешно, обидно, однако я могу с кем хошь поговорить.

— Во-во, потолкуй ишо с кем-нибудь,— улыбаясь глазами, сказал Наум и не спеша, прямо и тяжко ставя на землю широкие босые ступни, пошел в хату.

Работник поднял с земли свеженькую, откуда-то принесенную ветром стружечку, свернул ее в трубку, вздохнул и пошел по улице, кособочась и по-бабьи вихляя задом. Шел он так, как будто против воли ветром его несло.

Наум вошел в хату и снял с гвоздя вязку толстой бечевы. Развязывая узел, он повернулся лицом к печке и улыбнулся жене, возившейся со стряпней.

— Я говорил тебе, что откеда-нибудь да капнет! Попу Александру понадобилось жеребчика подрезать, работника присылал. Меньше чем полпуда размольной не возьму!..

— Присылал, что ли?..— обрадованно переспросила жена.

— Только что ушел.

— Вот и хлеб!.. А я-то горевала: пахать поедешь, а пирога и краюшки нету.

Наум улыбнулся, и от улыбки рыжий клин бороды сполз куда-то в сторону, оскалились почерневшие плотные зубы. Улыбка молодила его и делала суровое лицо приветливым.

— Собирайсь и ты, Федор, помогешь. А кобыла пущай постоит, не распрягай,— сказал сыну.

Федор, шестнадцатилетний парень, до чудного похожий на отца лицом и ширококостой плечистой фигурой, засуетился, подпоясал

рваную рубаху новым ремнем и пошел за отцом, так же твердо попирая землю босыми ногами и так же сутулясь на ходу и помахивая сильными не по возрасту руками.

Возле своего двора встретил их поп Александр. На сухих, обтянутых щеках его виднелась кровь, лоб завязан чистым полотенцем. Под повязкой серыми мышатами шныряли раскосые глаза.

— Приступу нет!— поздоровавшись, сказал он.— Вот зверь, прямо бесноватый!..— Голос у него был густой, басовитый, несоразмерный с низкорослой, щупленькой фигурой.— Хотел обротать, так он меня кусанул зубами, как пес! Клок кожи на лбу содрал, истинный бог!..

Смешливый Федор побагровел, надулся, удерживаясь от смеха, но отец строго взглянул на него и пошел в калитку.

— Он где у вас?

— В конюшне.

— Принесите ишо одну бечеву, батюшка.

— С ним надо умеючи...— нерешительно сказал поп.

— Как-нибудь усмирим. Не с такими управлялся!..— немного хвастливо ответил Наум и ловко свернул в конце бечевы замысловатую петлю.

Федор, поп и работник стали возле двери, а Наум на левую руку намотал бечеву, в правой зажал короткий сырой дубовый кол.

— Гляди, дядя Наум, он тебя обожгет!— усмехнулся работник.

Наум, не отвечая, откинул болт и, жмурясь от темноты, хлынувшей из конюшни, шагнул через порог.

Минуты две слышалась возня. Федор с шибко бьющимся сердцем ждал крика: «Идите держать!.. Живо!..»— как вдруг что-то грохнуло, всхрапнул жеребец, глухой вязкий стук, стон... По деревянному настилу коротко проговорили копыта, дверь хрястнула, словно ее рвануло бурей, и из темноты, дико задрав голову, прыгнул жеребец. В два скачка обогнул навозную кучу, на секунду стал, тяжело вздымая потные бока, разметал хвост и, перемахнув через забор, скрылся, взбаламучивая по дороге прозрачную пыль.

Из конюшни, качаясь, вышел Наум. Руками он зажимал рот, на левой еще моталась оборванная бечева... Шагов двадцать, быстрых и путано пьяных, сделал он по двору, наткнулся на забор грудью и упал навзничь, поджимая к животу ноги. Федор с криком бросил бечеву и подбежал к нему.

— Батя!.. Чего ты?!

Страшным хрипящим шепотом, давясь словами, Наум выкрикивал:

— В гру́ди... меня... вдарил... Сломил кость... Пропадаю!... В гру́ди... под сердце!..— выдохнул он со свистом и, выворачивая от безумной боли помутневшие глаза, заплакал, икая и давясь кровью.

Его подняли и перенесли под навес. По двору, там, где его несли, красной мережкой разостлался кровяной след. Наум, выгибаясь

дугой, хрипел и рвал на себе рубаху. При каждом выдохе страшно низко вваливалась размозженная грудь и потом угловато тряслась и покачивалась.

Минут через десять ему стало лучше, кровь перестала хлобыстать через рот, лишь розовой слюной пенились губы. Перепуганный поп принес графин самогонки, заставил Наума силком выпить три стакана и, заикаясь, зашептал:

— Я заплачу тебе... заплачу... а сейчас уходи... сынок тебя доведет. А ну — какой грех, тогда я в ответе? Иди, Наум, ради Христа, иди!.. В кругу семьи и помрешь... Пожалуйста, уходи. Я за тебя отвечать не намерен.

— Помру... жене... заплати...— свиристел сквозь приступы удушья Наум.

— Будь покоен... Приобщу тебя, за дарами зайду в церковь... Федор, помоги отцу подняться!..

Наум, поддерживаемый попом, быстро спустил ноги и глухо крикнул:

— Ой, не могу-у-у!.. Ой-ёй-ёй!.. Смерть! Помира-ю-у!..— вдруг закричал он пронзительно и дико.

Федор, безобразно кривя лицо, заплакал; работник в стороне копал ногою песок и глупо улыбался...

Тяжело хлебая раскрытым ртом воздух, Наум встал. Всей тяжестью наваливаясь на плечо Федора, он пошел, косо перебирая ногами.

— Домой... батюшка велит... пойдем...— коротко сказал он.

Шел, спотыкаясь и путаясь, но крепко закусил губы, ни одного стона не уронил за дорогу, лишь брови дрожали на мокром от слез лице его. Не доходя саженей сорока до дому, он с силой вырвался из рук Федора, крикнул и шагнул к плетню. Федор подхватил его под мышки и сразу почувствовал, как отяжелело, опускаясь, отцово тело и что он уже не в силах его держать. Из-под полуопущенных век свешенной набок головы глядели на него недвижные глаза отца с мертвой строгостью...

Подбежали люди. Кто-то потрогал руки Наума, кто-то сказал не то со страхом, не то с удивлением:

— Помер!.. Вот те и на!..

III

После похорон отца на третий или на четвертый день мать спросила у Федора:

— Ну, Федя, как же мы с тобой будем жить?

Федор сам не знал, как надо жить и что делать после отцовой смерти.

Был хозяин — налаженно и прочно шла жизнь, шла, как повозка с тяжелым грузом. Иной раз было трудно изворачиваться, но Наум как-то умел устроиться так, что семья даже в голодный год

особого голода не испытывала, а в остальное время было вовсе спокойно и хорошо: если не было достатков, как у мужиков-богатеев с первой улицы, то не было и той нужды, какую испытывали соседи Наума, жившие рядом с ним по второй улице. А теперь, после того как хозяйство лишилось заправилы, не только Федор растерялся, но и мать. Кое-как вспахали полдесятины под пшеницу, засевал Прохор, сосед, но всходы вышли незавидные — редкие и чахлые.

— Иди, сынок, нанимайся к добрым людям в работники, а я пойду пó миру...— сказала как-то мать.— Может, через год, через два наскитаемся, деньжонок на лошадь соберем, а тогда уж своим хозяйством заживем... Ты как?

— Выгадывать нечего,— хмуро отозвался Федор,— крути не крути, а в люди идтить придется.

Вечером того же дня стоял Федор у крыльца Захарова дома (первый богатей в соседнем Хреновском поселке), мял в руках отцов, заношенный до блеска, картуз, говорил, с трудом вырывая из горла прилипавшие слова:

— Работать буду по совести... работы не боюсь. Жалованье — какое положите.

Сам Захар Денисович, мужик малосильный, согнутый какой-то нутряной болезнью, сидел на порожках крыльца и в упор, не мигая, разглядывал Федора водянистыми, расплывчатыми глазами.

— Работник мне нужен — это верно. Одно вот: молод ты, паренек, нет в тебе мужеской силы, и за мужика ты не сработаешь, это точно. А какую цену ты с меня положишь?

— Какую дадите.

— Ну, все ж таки?

Федор вспотел, тряхнул картуз и, смущенный, поднял глаза.

— Кладите, чтоб и вам и мне было не обидно.

— Полтина в месяц, вот моя цена. Харчи мои, одежка-обувка твоя. А?— Он вопросительно уставился на Федора.— Согласен?

Федор зажмурил глаза, подсчитывал, быстро шевеля пальцами свободной руки: «В месяц — полтинник, в два — рупь... За год — шесть рублев...» Вспомнил, что на рынке за самую немудрящую лошаденку запрашивали восемьдесят рублей, и ужаснулся, высчитав, что за эти деньги надо будет работать тринадцать лет!..

— Ты чего губами шлепаешь! Ты говори: согласен или нет?— морщась от поднявшегося в груди колотья, скрипел Захар Денисович.

— Что ж, дяденька... почти задарма.

— Как задарма? А кормежка, во что она мне влезет? Рассуди сам...— Захар Денисович закашлялся и махнул рукой.

Федор, твердо помня советы матери, решил не наниматься меньше, чем за рубль в месяц, а Захар Денисович, закатывая в кашле глаза, обрывками думал: «Этого полудурня никак нельзя упустить. Клад. Собой здоровый, он у меня за быка будет ворочать. Такой меделян черту рога сломит, не то что... Знающий себе цену

рабочий на летнюю пору не наймется и за пятерик, а этого за рублевку можно нанять...»

— Ну, какая твоя крайняя цена?

— Мне бы хучь рупь в месяц...

— Рупь? Эка загнул!.. Да ты в уме, парень? Не-е-ет, брат, это дороговато!..

Федор повернулся было идти, но Захар Денисович по-воробьиному зачикилял с порожков и ухватил его за рукав.

— Постой, погоди, экий ты, брат, горячий! Куда же ты?

— Не сошлись, так что уж.

— Эх, да ладно! Была не была! Так и быть уж, плачу целковый в месяц. Грабишь ты меня, ну, да уж сделано — значит, быть по сему! Только гляди, уговор дороже денег, чтоб работать на совесть!

— Работать буду и за скотиной ходить, как за своим добром!— обрадованно сказал Федор.

— Нынче же холодком мотай в Даниловку, принеси свои гунья, а завтра с рассветом на покос. Так-то.

IV

Гаркнул под сараем петух. Перед тем как криком оповестить о рассвете, долго хлопал крыльями, и каждый хлопок его отчетливо и ясно слышал Федор, спавший под навесом. Ему не спалось. Выглянув из-под зипуна, увидел, что за гребенчатой крышей амбара небо серо мутнеет, тучи ползут с восхода, слегка окрашенные по краям кумачовым румянцем, а на крыльях косилки, стоящей около сарая, висят крупные горошины росы.

Спустя минуту на крыльцо вышел Захар Денисович в холщовых исподниках. Почесался, высоко задирая рубаху на пухлом желтом животе, и громко крикнул:

— Федька!..

Федор стряхнул с себя зипун и вышел из-под навеса.

— Гони быков к речке поить, да живо! В косилку запрягать будешь рябых.

Федор торопливо развязал воротца база, вытирая о штаны руки, намокшие росной сыростью, крикнул на быков:

— Цоб с база!

Быки нехотя вышли во двор. Передний отворил калитку рогами и направился по улице к речке, остальные потянулись следом.

Возвращаясь оттуда, Федор увидел, что хозяин суетится возле арбы, ключом отвинчивая гайку. Подошел, помог снять и помазать колеса. Захар Денисович косился, наблюдая за расторопными, толковыми движениями Федора, и чмыкал носом.

Пока управились и выехали за поселок, рассвело. На курганах вдоль дороги тревожно посвистывали бурые, вылинявшие увальни-сурки, в зеленях били на точка́х стрепеты, вылупившееся из-за горы солнце, не скупясь, по-простецки, сыпало на степь жаркий

свой свет, роса поднималась над оврагом густым, студенистым туманом.

Поскрипывали колесики косилки, позади громыхала арба, в задке в большой деревянной баклаге шумливо-весело булькала вода. Захар Денисович, пригревшись на солнце, был расположен к приятному разговору.

— Ты, Федька будь послушлив, а уж я тебя не обижу. Парень ты здоровый, при силе, с тебя и спрос будет как с заправского работника.

— Я говорил, что работать буду, как в своем хозяйстве.

— Ну, то-то. Ты, брат, должон понимать; что я твой благодетель, а ты мой слуга. А хозяину своему и благодетелю обязан ты беспрекословно подчиняться. Я тебя, можно сказать, от голодной смерти отвел, и ты помни мою доброту. Понял?

Федор, угнув голову, раздумывал о доброте хозяина и сам про себя удивлялся: какую ему милость сделал тот?

На покосе работал один Федор. Хозяин сидел на передке косилки на удобном железном стульчике, махал арапником, погоняя быков, а Федор короткими вилами, задыхаясь, сваливал тяжелые вороха зеленой травы. Только, натужившись, спихнет вал, а крылья косилки с сухим надоедливым тарахтеньем уже наметают к ногам новые груды травы. Иногда быки останавливались отдыхать, хозяин, потягиваясь, ложился под копну, задрав рубаху, гладил руками свой брюзглый желтый живот и тупо глядел на белые плывущие клочья облаков.

Федор в первую остановку вытряхнул из рубахи колючую пыль и травяные ости и тоже присел было под косилку, но Захар Денисович удивленно оглядел его с ног до головы, сказал с расстановочкой:

— Ты что же это? Ты, браток, на меня не гляди. Я твой благодетель и хозяин, ты вникни в это. Я могу и вовсе не работать, по причине своей нутряной хворобы, а ты бери вилы да иди-ка копнить. Вон там, за логом, трава уж просохла.

Федор поглядел, куда указывал волосатый палец хозяина, встал, взял вилы и пошел копнить. Через полчаса хозяин, приятно всхрапнувший под навесом копны, проснулся оттого, что кузнечик заполз ему под рубаху; выругавшись смачно, раздавил несчастного кузнечика и, прикрывая опухшие глаза ладонью, поглядел, как Федор копнит.

— Федька!

Федор подошел.

— Сколько копен свершил?

— Девять.

— Только девять?.. Ну, садись на косилку.

Быки тронулись, на ходу перетирая жвачку; дрогнула косилка, застрекотали крылья, сметая траву к задку. Захар Денисович, жадный до крайности, пустил ножи под самый корень травы. Ножи сухо чечекали, сбривая густую поросль, все шло как следует, но

на повороте косилка вдруг с разгона налетела на кучу земли, вырытой кротом, и стала, зарывшись зубьями в землю, подрагивая от напряжения. Федор соскочил с сиденья поглядеть, не обломались ли, но на этот раз все сошло благополучно.

Работу бросили перед наступлением темноты. Федор притащил к стану сухого бычачьего помета, надергал прошлогодней старюки-травы, бурьяна и разложил огонь. Из сумочки хозяин скупо отсыпал пшена и велел очистить три картофелины.

После обеда он был в хорошем настроении, раз даже похлопал Федора по плечу, но перед ужином Федор испортил все дело, отрезав лишний ломоть сала в кашу. Захар Денисович, недовольно косоротясь, долго ему выговаривал за это, за ужином хмурился и лег спать, вздыхая и что-то пришептывая.

V

Часто вспоминал Федор слова хозяина: «Ты помни мою доброту». Жил он у него третью неделю и никакой доброты пока не видел. Одно лишь твердо знал, что Захар Денисович жох-мужик и умеет работой вытянуть из человека жилы. С утра до поздней ночи мотался Федор по двору, а хозяин покрикивал, кривил губы и делал недовольное лицо.

В первое воскресéнье думал Федор сходить в Даниловку проведать мать, но Захар Денисович еще в субботу с вечера заявил:

— Завтра пораньше отправляйся картошку полоть. Бабы говорят, страсть как затравела.— Помолчав, добавил:— Ты не думай, ежели праздник, так можно байбаком лежать да хлеб жрать. Теперя время горячее: день год кормит. Это уж зимой будешь нахлебничать.

Федор смолчал. Колючий страх потерять место делал его приниженным и покорным. Утром взял кусок хлеба, мотыгу и отправился полоть. К полудню так намахался мотыгой, что ударило в голову и тошнота подкатила к горлу. С трудом разогнув спину, сел на пригорок пожевать хлеба и плюнул: впереди саженей на восемьдесят шершавым лоснящимся бархатом зеленела еще не выполотая трава.

К вечеру, с трудом передвигая ноги, налитые гудящей болью, доплелся до двора. Хозяин встретил его у ворот. Не вставая с завалинки, спросил:

— Всю прополол?

— Осталась делянка.

— Экий ты, брат... Небось лодырничал либо спал,— досадливо буркнул он.

— Не спал я,— хмуро отозвался Федор,— всю за один день немыслимо прополоть.

— Иди, не разговаривай! Вдругорядь будешь так работать, так и жрать не получишь! Дармоед!— крикнул вслед уходившему Федору.

VI

Тягучей безрадостной чередой шли дни и недели. С утра до поздней ночи работал Федор не покладая рук. В праздничные дни хозяин нарочно приискивал какое-нибудь дело, лишь бы занять чем-нибудь время, лишь бы не был батрак его без работы.

Прошло два месяца. У Федора рубаха от пота не высыхала, выдабривался, думая, что хозяин к концу второго месяца уплатит за прожитое время. Но тот молчал, а у Федора совести не хватало спросить.

В конце второго месяца как-то вечером подошел Федор к Захару Денисовичу, сидевшему на крыльце, спросил:

— Хотел деньжат у вас попросить. Матери переслал бы...

Тот испуганно замахал руками.

— Какие там деньги сейчас! Что ты, брат, очумел, что ли?.. Вот помолотим хлеб, налог отдадим, тогда, может, и деньги будут!.. Ты их спервоначалу заработай!

— Обносился я, чирики вон разлезлись.— Федор поднял ногу с ощеренным чириком; из рваного носа глядели потрескавшиеся пальцы.

Захар Денисович, ухмыляясь, долго глядел ему под ноги, потом отвернулся.

— Теплынь стоит, можно и босым...

— По колкости, по жнивью, не проходишь.

— Ишь ты, нежный какой! Ты, ненароком, не барских ли кровей будешь? Не из панов, бывает?

Федор молча повернулся и под хохот хозяина, краснея от унижения, пошел к себе в сарай.

За два месяца он ни разу не видел матери. Времени не было сходить в Даниловку — не пускал хозяин, да к тому же и не знал, дома ли мать или с сумой пошла по хуторам и станицам.

Незаметно кончился покос. К Захару Денисовичу во двор привезли с участка паровую молотилку. Понашли рабочие. Хозяин залебезил перед ними, задабривая, чтобы поскорее окончили молотьбу.

— Вы, ребятки, уж постарайтесь, ради Христа. Приналяжьте, покеда погодка держится. Не приведи бог — пойдут дожди: пропадет хлеб.

Пришлый парень в солдатской, морщеной сзади гимнастерке, презрительно оглядывая одутловатую рожу хозяина, покачиваясь на носках, передразнил:

— Постарайтесь, ради Христа! Нечего тут Лазаря петь! Ставька ведро самогону на всю шатию — пойдет работа. Сам понимаешь, сухая ложка рот дерет.

— Я что ж, я с превеликой радостью... Я сам думал выпить.

— Тут и думать нечего. Гляди: покуда обдумаешь, а мы сгребемся да к соседу твому на гумно. Он нас давно сманывает.

Захар Денисович мотнулся в хутор и через полчаса, на ходу

кособочась, принес ведро самогонки, прикрытое сверху грязной исподней бабьей юбкой. На гумне, возле непочатых скирдов пшеницы, пили до полуночи. Машинист, немолодой уже, замасленный украинец, подвыпил, спал под скирдом с какой-то гулящей бабой, поденные рабочие ревели нескладные песни, ругались. Федор сидел в сторонке, поглядывал, как пьяный Захар Денисович, обнимая парня в солдатской гимнастерке, плакал, слюнявя рот, и сквозь рыдания выкрикивал гнусавым бабьим голосом.

— Я на вас, можно сказать, капитал уложил, ведро водки — оно денег стоит, а ты работать не желаешь?..

Парень, гоголем поднимая голову, громко выкрикивал:

— А мне плевать! Захочу — и не буду работать!..

— Да ить я в трату вошел!

— А мне плевать!

— Братцы!— Захар Денисович обернулся к темному полукругу людей, оцепивших ведро.— Братцы! Вы меня на всю жизнь обижаете! Я, может, через это смерть могу принять!

— А мне плевать!— гремел парень в гимнастерке.

— Я хворый человек!— стонал Захар Денисович, обливаясь слезами.— Вот тут она, хворость, помещается!— он стучал кулаком по пухлому животу.

Парень в гимнастерке презрительно плюнул на подол ситцевой рубахи хозяина и, покачиваясь, встал. Шел он петляя ногами, как лошадь, объевшаяся жита, шел прямо на Федора, сидевшего возле плетня.

VII

Не доходя шага два, парень гордо отставил ногу и кивком головы сдвинул на затылок рабочую соломенную шляпу.

— Ты кто?— спросил, по-пьяному твердо выговаривая.

— Дед Пухто́,— хмуро ответил Федор.

— Ду-рак! Я спрашиваю: ты кто?

— Работник.

— Живешь?

— Живу.

— Ишь ты... тля! Небось сосешь хозяйскую кровь, как паразитная вошь? Или как то есть? А?

— Ты-то чего ко мне присосался? Проходи!

— Проходи! А я вот возьму да и того... возьму да и сяду.

Парень мешковато жмякнулся рядом и вонюче дыхнул в лицо Федору самогонкой и луком.

— Я зубарем при машине, Фрол Кучеренко. И точка. А ты кто?

— Я из Даниловки. Наума Бойцова сын.

— Та-а-ак... Сколько жалованья гребешь?

— Рупь в месяц.

— Ру-у-пь?..— Фрол протяжно свистнул и икнул.— А я рупь в сутки. Это как? А?

Кровь прихлынула у Федора к сердцу, спросил, переводя дух:

— Рупь?

— А ты думал — как? К тому же и угощение. Ты, ягодка моя, из дураковой породы! Кто же за целковый будет работать месяц? Вот. Уходи от свово эсплитатора к нам. За-ра-бо-таешь!..

Федор поднялся и пошел к себе под навес сарая, где он спал с весны. Лег на доски, прикрытые давнишней соломой, натянул на ноги зипун и, подложив руки под голову, долго лежал не шевелясь, обдумывая.

Сквозь дырявую крышу навеса крапинки звезд точили желтенький лампадный свет, в камыше нежно и тихо звенела турчелка, спросонья возились под крышей воробьи.

Ночь, безмесячная, но светлая, шла к исходу. С гумна доносились взрывы хохота и плачущий голос хозяина. Федор, вздыхая и ворочаясь, долго лежал, не смыкая глаз. Уснул перед рассветом.

Наутро дождался хозяина в кухне. Неумытый, опухший и злой вышел тот из горницы, крикнул, глянув на Федора:

— Лодыря корчишь, сукин сын! Я тебя выучу! Жрать-то вы мужички, а работать мальчики! Я кому сказал, чтоб перевозить к машине хлеб из крайнего прикладка?..

— Я больше жить у вас не буду. Заплатите за два месяца.

— Ка-а-ак?..— Захар Денисович подпрыгнул на пол-аршина и исступленно затрясся.— Уходить задумал? Сманили?.. Ах ты стервец! Ублюдок... Да ты знаешь, я тебя в тюрьму упеку за такое дело!.. В рабочее время бросать? А?.. На каторгу пойдешь за такие отважности! Иди! С богом! Но денег я и гроша не дам!.. И лохуны твои не дам забрать!..— Захар Денисович подавился ругательством, закашлялся и, выпучив рачьи глаза, долго гладил и мял руками подрагивающий живот.— За мои к тебе отношения такую благодарность получаю... Забыл, что я твой благодетель, нужду твою прикрыл?.. Заместо отца родного тебе, поганцу, был и вот...

Захар Денисович, прижмурившись, глядел на Федора. В первую минуту, как только Федор заявил об уходе, он сразу понял и учел, что это нанесет его хозяйству здоровенный убыток: во-первых, он потеряет работника, который работает на него, как бык, за кусок хлеба — и только; во-вторых, надо будет или нанимать за большие деньги другого, обувать, одевать его, да, чего доброго, еще (если попадется знающий, тертый в этих делах калач) и заключить письменный договор с сотней обязательств; а если не нанимать — то самому браться за работу, впрячься в проклятое ярмо, в то время как гораздо приятнее спать на солнышке и, ничего не делая, нагуливать жирок.

Сначала Захар Денисович попробовал взять Федора на испуг и, видя, что это принесло известные результаты, решил ударить по совести:

— И не стыдно тебе? И не совестно в глаза мне глядеть?

Я тебя кормил-поил, а ты... Эх, Федор, Федор, так по-христьянски не делают. Да ты, чего доброго, не комсомолист ли? Это они, христопродавцы, смутьяны, так их распротак, могут подобное исделать!..

Захар Денисович укоризненно покачал головой, искоса наблюдая за Федором.

Федор стоял, опустив голову, переминая в руках картуз. Он понимал только одно: что все планы его, обдуманные ночью,— о том, как скорее заработать денег на лошадь,— пошли прахом. Что-то непоправимо-тяжелое навалилось на него, и из-под этой беды ему уж не вырваться.

Молча повернулся и пошел на гумно. Там уж пожаром полыхала работа: возили с дальних прикладков хлеб, пыхтела машина, орал Фрол-зубарь, пихая в ненасытную пасть молотилки вороха пахучего крупно-зернистого хлеба, визжали бабы, подгребая солому, и оранжевым колыхающимся столбом вилась золотистая пыль.

VIII

В этот день Федор ходил как во сне. Все валилось у него из рук.

— Эй ты, раззявин пасынок, куда правишь? Куда правишь, куда правишь!..— орал, хмуря брови, хозяин.

Федор, встрепенувшись, дергал быков за налыгач и невидящими глазами глядел на ворох мякины, который зацепил он задними колесами арбы.

Обедали на-скорях тут же, на гумне, и снова — сначала будто нехотя, потом все веселей, все забористей — начинала постукивать машина, суетливей расхаживал около нее лоснящийся от минерального масла машинист, чаще кормил зубарь ненаедную молотилку беремками хлеба, и ошалевшие рабочие, чихая от едкой пыли, сменившись, жадно, по-собачьи, хлебали из ведер воду и падали где-нибудь под прикладком передохнуть. Уже перед вечером Федора позвали во двор.

— Там тебя какая-то побируха спрашивает, у ворот дожидается!— крикнула на бегу хозяйка.

Размазывая руками грязь на взмокшем от пота лице, Федор выбежал за ворота. Около забора стояла мать.

Дрогнуло и в горячий комочек сжалось у Федора от жалости сердце: за два месяца постарела мать лет на десять. Из-под рваного желтого платка выбились седеющие волосы, углы губ страдальчески изогнулись вниз, глаза слезились, беспокойно и жалко бегали; через плечо у нее висела тощая, излатанная сума, длинный изгрызенный собаками костыль держала она, пряча за спину. Шагнула к Федору и припала к плечу... Короткое, сухое, похожее на приступ кашля, рыдание.

— Вот как пришлось... свидеться... сынок.

Костыль мешал ей, положила на землю и вытерла глаза рукавом.

Хотела улыбнуться, показывая Федору глазами на суму, но вместо улыбки безобразно искривились губы, и частые слезы, задерживаясь в ложбинках морщин, покатились на грязные концы платка.

Стыд, жалость, любовь к матери, спутавшись в клубок, не давали Федору говорить, он судорожно раскрывал рот и поводил плечами.

— Работаешь?— спросила мать, прерывая тягостное молчание.

— Работаю...— выдавил из себя Федор.

— Хозяин-то как? Добрый?

— Пойдем в хату. Вечером поговорим.

— Как же я, такая-то?..— Мать испуганно засуетилась.

— Пойдем, какая есть.

Хозяйка встретила их у крыльца.

— Куда ты ее ведешь? Нечего давать, милая! Иди с богом.

— Это моя мать...— глухо сказал Федор.

Хозяйка, нагло усмехаясь, оглядела ежившуюся женщину с ног до головы и молча пошла в дом.

— Марья Федоровна, покормите мамашу. С дороги пристала...— заискивающе попросил Федор.

Хозяйка высунула в дверь рассерженное лицо:

— Двадцать обедов, что ль, собирать?.. Небось не помрет и до вечера! С рабочими и повечеряет!

Резко хлопнула дверь, в открытое окно доносился негодующий голос:

— Навязались на мою шею, чорты́?.. Старцев понавел полон двор. Чтоб ты выздох, проклятый! Взяли дармоеда на свой грех!..

— Пойдем ко мне, под сарай,— багровея, прошептал Федор.

IX

Смерклось. Тишиной сковалось гумно. Рабочие пришли вечерять в дом. В кухне накрыли три стола. За одним сидели — хозяин с женой, машинист, кое-кто из рабочих и в самом конце стола Федор с матерью.

Захар Денисович вяло хлебал жидкую кашу и, поглядывая кругом, морщился: больно уж много съедают рабочие — что ни день, то пуд печеного хлеба, жрут, будто на поминках.

Машинист угрюмо молчал, ему нездоровилось. Фрол-зубарь смачно жевал, двигая ушами, и болтал без умолку:

— Ну как, дорогой хозяин, доволен работой?

— Доволен, доволен. И чему доволен?..— гнусавил Захар Денисович.— Молотьбы пропасть, а рабочие по нонешним годам вовсе не такие, как до войны были. Усердия нету, вот оно что! Взять вот хоть бы мово Федьку — жрать-то он мужичок, а работать мальчик. Все дело на хозяине, а ему деньги плати бог знает за что.

Федор искоса глянул на мать, она заискивающе и жалко улыбалась. Хозяйка нарочно отставила подальше от нее чашку с кашей, на самый край сдвинула хлеб. Федор видел, что мать ест

без хлеба и каждый раз привстает со скамьи, чтобы дотянуться ложкой до чашки.

— Работать они мальчики,— хихикая, повторил хозяин (выражение это, как видно, ему понравилось) — а уж исть мужички!..

Фрол метнул взгляд на бледное лицо Федора, и губы его дрогнули.

— Это ты про кого же говоришь?— сухо спросил он.

— Вообче.

— То есть как это вообче?— Фрол отложил ложку и слег над столом. Прижмурив глаза, он упорно глядел в переносицу хозяину и сжимал и разжимал кулаки.

— Вообче про рабочих,— не замечая придирки, самодовольно проговорил Захар Денисович.

Рабочие за соседними столами, чуя назревающий скандал, перестали гомонить и прислушались.

— А если я тебе, гаду, за такие слова по едалам дам?— громко спросил Фрол.

Хозяин оробел: выпучив глаза, он молча глядел на потное и рассерженное лицо зубаря.

— Как это?..— выхаркнул он под конец.

— Хошь попробовать?.. Так я могу!..

— Ты гляди, брат, за такие выраженья сразу в милицию!..

— Что-о-о?..

Фрол шагнул из-за стола, но машинист удержал его за руку и с силой посадил на скамью.

— Выражаться тут нечего!..— опамятовавшись, бубнил Захар Денисович.

— Тут выражаться и нечего, а морду твою глинобитную исковырять, как пчелиный сот, вот и все!..— гремел расходившийся зубарь.— Ты не забывай, подлюка, что это тебе не прежние права! Я на тебя плевать хочу! И ты не смей смываться над рабочими! Не я на месте этого Федора, а то давно бы из тебя душу вынул!.. Рад, что попал на мальчишку, и кочевряжишься? Знаем вас, таких-то!.. Что, прикусил язык?.. Цыц!.. Нынче исправнику не пожалишься!.. Я в Красной Армии кровь проливал, а ты смеешь над рабочим смываться?!

— Замолчи, Фрол, ну, прошу тебя, замолчи!..— Машинист тряс рукав морщеной гимнастерки.

— Не могу!.. Душа горит!..

Хозяин присмирел и свел разговор на урожай, на осеннюю запашку. Машинист, до этого молчавший,— чтобы сгладить впечатление, произведенное скандалом, охотно поддерживал разговор. Захар Денисович неожиданно сделался ласковым и предупредительным до приторности. Щедро угощал рабочих, под конец даже Федору сказал:

— Ты чего же, брат Федя, без хлеба ишь? Хозяйка, отрежь ему краюху!.. Хлеба у нас теперя, бог даст, хватит.

Федор отодвинул черствую краюху и в ответ на недоумевающий взгляд хозяина ответил, кривя губы:

— Хлеб у тебя горький!..

— Правильно!— Зубарь стукнул кулаком и вышел из-за стола следом за Федором.

Рабочие поднялись за ними охотно и дружно.

Захар Денисович, багровея и моргая, перебегал от одного стола к другому, визжал пронзительно:

— Что ж вы, братцы?.. Ишо каша молошная есть!.. Хозяйка, живо мечи все на стол!..

— Благодарствуем за хлеб-соль!— насмешливо сказал чей-то голос.

X

Утром, не дожидаясь завтрака, мать Федора засобиралась уходить.

— Может, передневала бы?— нехотя спросил Федор.

Он почему-то ощущал непреодолимый стыд за себя, за хозяина, за мать, за всю жизнь свою, такую безрадостную и постылую. Поэтому ему было совершенно безразлично, останется ли мать на день или нет, несмотря на то что еще вчера он ощущал при встрече с ней такую огромную, солнечную радость.

После всего происшедшего было бы лучше остаться одному со своими мыслями, со своим негодованием и озлобленностью против этого мира, где не у кого найти защиты, не у кого спросить совета и не от кого дождаться теплого слова участия.

Мать тоже спешила уйти. Ей тяжело было глядеть на сына и еще тяжелее было встречаться за столом с ненавидящими, по-собачьему жадными глазами хозяев, провожавшими каждый кусок.

— Нет, сынок, пойду уж я... Свидимся как-нибудь.

— Что ж, иди,— безучастно процедил Федор.

Попрощались. Федор вспомнил, что у матери нет на дорогу харчей.

— Погоди, мама, пойду спрошу у хозяйки, может, хоть меру хлеба даст. Хозяин денег не платит, хлеба возьму в счет жалованья... Продашь...

Хозяйка на просьбу Федора взяла ключи от амбара и пошла, не сказав ни слова. Отмыкая замок, спросила:

— Мешок есть?

— Есть.

Федор, растопырив мешок, глядел в сторону, на коричневую стену закрома, заплетенную затейливым кружевом паутины. Хозяйка из неполной меры скупо цедила неочищенную, с озадками пшеницу.

Скрипнула дверь. Животом вперед втиснулся хозяин, кинул жене:

— Ступай в дом!— и мелкими шажками подошел к Федору.

Тот, бережно опустив мешок, прислонился к стенке закрома. Ждал.

— Ты что же это?— кривляясь, засипел Захар Денисович.— Хлебец получаешь?..

— Получаю.

— Рабочих смущать! Смуту заводить! Хозяина в собственном доме за тебя чуть в морду не бьют, а ты мой хлеб... хлеб мой берешь... А?

Федор молчал. Хозяин, меняясь лицом, подступал к нему все ближе и вдруг, заикаясь, пронзительным дискантом крикнул:

— Вон из моего двора!.. Вон, сукин сын!..

Федор левой рукой поднял мешок и шагнул к двери, но хозяин петухом налетел на него, вырвал из рук мешок и, широко взмахнув рукою, звонко ударил Федора по лицу.

Желтые светлячки зарябили перед глазами. Багровый гнев помутил рассудок и текучим свинцом налил руки... Качнувшись, Федор схватил одной рукою ожиревшее горло хозяина, другою, сжатой в кулак, с силой ударил по запрокинутой голове.

В три секунды подмятый Захар Денисович уже лежал под Федором, извиваясь толстой гадюкой, норовя укусить Федора за лицо. Федор, до крови закусив губы, тяжко бил по толстой обрубковатой шее, по зубам, щелкавшим у самого его лица. Захар Денисович пустил в ход все бабьи средства: царапался, кусался, рвал на Федоре волосы, но через минуту, основательно избитый, задыхаясь, заплакал, измазал губы соплями и лежал, беспомощно охая, икая, подрагивая животом...

Федор встал, вытер с расцарапанного лица кровь, ожидая вторичного нападения, но хозяин проворно повернулся вниз животом, замычал и раком пополз к дверям.

«За все! За все! За все!..»— билась у Федора мысль. Оправился, поднял мешок и только взялся рукою за скобу двери — услышал истошный крик:

— Ка-ра-у-у-ул!.. Уби-и-или! Ка-ра-у-ул, люди добрые!..

Неожиданный приступ смеха захлестнул Федору горло. Прислонясь к дверному косяку, хохотал так, как еще ни разу после отцовой смерти. Насмеявшись, вышел во двор. Посреди двора, раскорячившись, стоял Захар Денисович и, не слушая тревожных вопросов окружавших его рабочих, круглой черной дырой раззявив рот, орал:

— Ка-ра-у-у-ул!..

XI

Перед уходом, проводив мать, Федор решился спросить у хозяина:

— Платить не будете, значит?

— Пла-ти-ить... Тебя в шею выбить надо, а не то что... Ну, да я ишо доберусь до тебя. Вот подам в нарсуд прошение, там вашего брата, гольтепу, тоже не балуют!

— Что ж, богатей на здоровье, Захар Денисович. Небось не помру и без твоей платы.

— Нечего тут рассусоливать! Валяй, тебе говорят!

Федор на минуту стал, задумавшись, потом, не прощаясь, шагнул за порог. Скрипнула калитка. Под амбаром зазвенел привязью цепной кобель.

Выйдя за ворота, Федор снова остановился. В поселке гасли вечерние огни. На краю скрипела гармошка, слышались невнятные слова песни. Изредка песню заглушал хохот, такой раскатистый и ядреный, что Федору не хотелось думать о своем горе и о существовании горя вообще. Бесцельно направился вдоль улицы, прошел квартал, хотел свернуть в переулок, чтобы, добравшись до крайнего гумна, заночевать в соломе, как вдруг его окликнули:

— Ты, Федор?

— Я.

— А ну, плыви сюда!

Подошел, вгляделся: под плетнем, сдвинув соломенную шляпу на затылок, что означало, что обладатель ее еще не совсем пьян, сидел Фрол-зубарь.

На сожженной солнцем траве перед ним аккуратно разостлан грязный носовой платок, на платке длинношеяя бутылка с самогонной вонью, до половины съеденный огурец и белый пышный хлеб.

— Садись!

Федор, обрадованный встречей, присел рядом.

— Идешь?

— Иду.

— Наклевал хозяину морду?

— Чего там... Самую малость..

— Очень жалко. Надо бы больше... Сколько прожил?

— Два месяца.

— За два месяца следовает тебе, самое малое, пятнадцать рублей. Потому — рабочая пора, а за пятнадцать рублей и я соглашусь, чтоб меня изватлал кто-нибудь. Верь слову — прямая выгода!

Федор промолчал. Фрол поджал под себя ноги, скинул шляпу и, запрокинув голову, воткнул себе в рот горлышко бутылки. Что-то долго урчало и хлюпало, потом бутылка, описав полукривую, ткнулась Федору в руку.

— Пей!

— Не пью.

— Не пьешь? И не надо. Хвалю.

Горлышко бутылки опять до половины уходит в рот зубаря. Федор молча глядит на золотисто-голубое шитво неба. Осушив бутылку, зубарь весело блестит глазами, беспричинно смеется и кивками головы гоняет шляпу с затылка на глаза и обратно.

— В суд подашь?

— Всчет чего?

— Дурочкин сполюбовник, да всчет того, что за два месяца заячий хвост получил! Подашь, что ли?

— Не знаю...— нерешительно ответил Федор.

— Я тебе вот что скажу,— начал зубарь, похрустывая огурцом,— иди ты напрямки в хутор Дубовской, там комсомолистовская ячейка. Ты к ним, они защиту дадут. Я, брат, сам в Красной Армии служил и приветствую новую жизнь, но сам не могу, по причине потомственной слабости... От отца и кровь передалась: водку пью, а при советском социализме не должно быть подобного... Вот... А то бы я,— зубарь загадочно округлил глаза,— образование поимел и в партию единогласно вписался! Уж я бы накрутил хвост таким друзьям, как твой хозяин!..

Через минуту оживление его прошло. Устало оглядев бутылку от горлышка до донышка, он любовно погладил ее рукой и уже безразличным тоном повторил:

— Жарь к комсомолистам. Там в обиду не дадут. Там твоя кровная родня. Такие же голяки, как и мы с тобой.

Немного погодя он тут же под плетнем уснул. Федор сидел задумавшись, уронив голову на руки, и не видел, как бежавшая мимо собачонка, обнюхав пьяного зубаря, подняла ногу и, помочившись на него, зачикиляла дальше.

Пропели первые петухи. Около пруда, за поселком, в камыше закрякал матерый селезень, где-то в поселке, то умолкая, то вновь оживая, сухо тарахтел барабан веялки. Кто-то, пользуясь вёдром, веял всю ночь. Федор встал, поглядел на всхрапывающего зубаря, хотел его разбудить, но, одумавшись, махнул рукой и не спеша пошел к гумнам.

XII

На другой день в полдень Федор уже подходил к хутору Дубовскому. Верст двадцать с лишним отмахал он с утра. К концу подбился, устали и ломотой налились ноги, особенно болели исколотые подошвы и икры.

С горы хутор виден, как на ладошке: площадь с облупленной белой церквушкой, белые квадратики домов и сараев, зеленые вихры садов и дымчато-серые ручейки — улицы.

Спустился под гору. У крайних дворов собаки встретили его ленивым лаем. Вышел на площадь. Рядом с опрятной школой блещут глянцевитой известкой стены нардома. Спросил у бежавшего мимо мальчишки:

— Где у вас тут комсомол помещается?

— А вот, в нардоме.

Робко поднялся Федор на крыльцо и вошел в настежь распахнутую дверь. Откуда-то из глубины комнат доносились сдержан-

ные голоса. Звуки шагов Федора гулко плескались под высоким крашеным потолком. В конце коридора, за дверью, голоса. Вошел. Человек шесть ребят, сидевших на подоконниках, на скрип двери повернули головы и, увидев незнакомое лицо, молча уставились на Федора.

— Это и есть комсомол?

— Он самый.

— А кто у вас главный?

— Я секретарь,— отозвался веснушчатый парень.

— Тут дело к вам...— по-прежнему робея, заговорил Федор.

— Садись, товарищ, рассказывай.

Федора заботливо усадили на табуретку и окружили со всех сторон. Сначала он чувствовал себя неловко под перекрестными взглядами чужих ребят, но, глянув на простые, приветливые лица, вспомнил слова Фрола-зубаря: «Они тебе кровная родня»,— вспомнил и разошелся; путаясь и волнуясь, рассказал про свою жизнь у Захара Денисовича; когда говорил обо всех снесенных обидах, непрошеные слезы невольно подступали к горлу, голос рвался, и трудно становилось дышать. Изредка взглядывая на ребят, боялся встретить в глазах их обидную насмешку, но все лица ребят были сурово нахмурены, дышали сочувствием, а у веснушчатого секретаря негодование сводило губы. Федор кончил, как осекся. Ребята молча переглянулись.

— В суд?— спросил один из них, нарушая молчание.

— Конешно, в суд! А то куда же?— запальчиво крикнул секретарь и повернулся к Федору:— А теперь ты где же устроился?

— Нигде.

— Живешь-то где?

— Жил до этого в Даниловке, отец помер, мать побирается, и мне жить не при чем...

— Что думаешь делать?

— Сам не знаю,— нерешительно ответил Федор.— Работенку бы какую-нибудь...

— Об этом не горюй, работу найдем.

— Найдем!

— Живи покуда у меня,— предложил один.

Расспросив еще кое о каких подробностях, секретарь, по фамилии Рыбников, сказал Федору:

— Вот что, товарищ, подавай-ка ты в нарсуд заявление, а мы от ячейки поддержим. Кто-нибудь из ребят сходит с тобой к бывшему твоему хозяину, заберет твое барахло, и будешь временно жить у Егора, вот у этого парня,— он указал пальцем на одного.— А про суд и говорить нечего! Батрацкие копейки не пропадают! Его еще пристебнут к ответственности за то, что эксплуатировал тебя, не заключив в батрачкоме договор.

Все кучей пошли к выходу. Федор шел, не чувствуя усталости. Бесконечно родными и близкими казались ему эти грубые на вид, загорелые ребята. Ему хотелось хоть чем-нибудь выразить им свою

благодарность, но, стыдясь этого чувства, Федор шагал молча, лишь изредка поглядывая с тихой улыбкой на худощавое горбоносое лицо Егора.

Уже шагая по сенцам Егоровой хаты, снова припомнил слова «кровная родня» и улыбнулся, представляя себе пьяненького зубаря; так метко определил он этим названием все. Вот именно — кровная родня и ничто иное.

XIII

Егор жил с матерью и с маленькой сестренкой. Мать Егора приняла Федора, как родного: за обедом заботливо его угощала, стирала бельишко и в обращении с ним ничем не отличала от родного сына.

Первое время Федор помогал Егору в хозяйстве: вместе пахали под зябь, ездили на порубку, убирали скотину и в свободное время заново оплели двор высоким красноталом-хворостом.

Незаметно пришла осень. Стояла сухая безветренная погода. Утрами слегка придавливал холодок; тополь во дворе с каждым днем все больше терял пожелтевшие листья; догола растелешились сады, и далекий лес за рекою, на горизонте, напоминал небритую щетину на щеках хворого человека.

По вечерам Федор вместе с Егором уходили в клуб. Цепко прислушивался Федор к новым, неведомым ему раньше, мыслям и словам, все вбирал жадно-пытливым умом, что слышал на длинных субботних политчитках и беседах с агрономом о таком волнующе близком деле, как сельское хозяйство. Но все же ему трудно было угоняться за остальными ребятами; те вызубрили политграмоту назубок, читали газеты, целый год слушали беседы местного агронома и на каждый вопрос могли ответить толково и ясно (секретарь Рыбников, вдавив в веснушчатые щеки кулаки, читал даже Маркса), а Федор — парень не шибко грамотный.

Да и вообще-то одно дело — держать за шершавые поручни плуг и чувствовать во время работы под рукой его горячее, живое трепетанье, а совсем другое дело — держать в руке такую хрупкую и нежную штуку, как карандаш: во-первых, пальцы дрожат, предплечье немеет, а во-вторых, и сломать недолго этот самый зловредный карандаш. К первому делу руки Федора были гораздо больше приноровлены; ведь отец, когда мастерил Федора, не думал, что выйдет из него такой письменный парень, а потому и руки приварил ему хлеборобские, в кости широкие, волосато-нескладные, но уж крепости чугунной. Все же понемногу напитывался Федор книжной мудростью: кое-как — вкривь и вкось, как сани-развалки по ухабистой путине,— мог он толковать о том, что такое «класс» и «партия», и какие задачи преследуют большевики, и какая разница между большевиками и меньшевиками.

Были его слова, как и походка, неуклюжие, обрубистые, но

ребята относились к ним с подобающей серьезностью; если и смеялись изредка, то в смехе их не было обидного. Федор это чувствовал и не обижался.

В декабре как-то, за день до общего собрания, сказал Рыбников Федору:

— Ты вот что, подавай-ка нам заявление. Мы тебя примем, райком утвердит, а тогда уж направишься к весне в работники. Сейчас проводится кампания, чтобы вовлечь в союз возможно больше батрацкой молодежи. Наша ячейка раньше дремала, потому что секретарем был сын кулака, и много членов были негодные... разложились, как падаль в жару... Мы их вычистили за месяц до твоего прихода, а теперь надо работать. Надо поднять дубовскую ячейку в глазах народа. Раньше наши комсомольцы только и знали, что самогон глушить да на игрищах девкам за пазухи лазить, а теперь шабаш! Так качнем работу, чтоб по всей Донской области гремела! Как наймешься — мы тебе задание дадим, и ты всех батраков притяни к ячейке. Понял? Мы все рассыплемся по хуторам.

— А как ты думаешь, могу я соответствовать? Я ить не дюже шибко по книжкам...

— Брось чудить! Чего не знаешь — за зиму одолеешь. Мы сами не очень тоже... Райком на нас начхать хотел: ни пособий, ни одного дельного совета, одни предписания. Мы, брат, сами до всего своими силами достигаем. Так-то!

Слова Рыбникова о вовлечении в союз батрацкой молодежи окрестных хуторов и поселков упали Федору в разум, как зерна пшеницы в богатый чернозем. Вспомнил он свое житье у Захара Денисовича и загорелся нетерпением работать. В этот же вечер накарябал заявление. Но о причине вступления в комсомол упомянул не так, как его учил Егор. Тот говорил: пиши, мол, «желаю получить политическое воспитание», а Федор подумал малость, да так-таки черным по белому, без запятых и точек, и написал:

«Желаю вступить как я рабочий штоп очень навостриться и завлечь всех рабочих батраков в комсамол так как комсамол батракам заместо кровной родни».

Рыбников прочитал и поморщился.

— Оно-то так, да уж больно ты нагородил... Ну да ладно, продерет!

Собрание началось поздно вечером. В клубе заколыхался разноголосый шум. Выбрали президиум собрания, Рыбников сделал доклад о международном положении, потом перешли к делам текущим.

Федор с замиранием сердца ждал, когда прочтут его заявление.

Наконец-то Рыбников, покашливая и обводя собравшихся глазами, громко сказал:

— Поступило заявление от известного вам Федора Бойцова.

Он медленно прочитал заявление и, разглаживая на столе бумагу, спросил:

— Кто выскажется «за» и «против»?

Егор поднялся с задней скамьи и, поводя горбатым носом, заговорил:

— Чего там говорить! Парень из батраков, сын бедного мужика из Даниловки. Теперь политически разбирается, может соответствовать... Что там еще, принять!

— Кто против?

Никого не нашлось. Приступили к голосованию. Руки поднялись густым частоколом. «За» — двадцать шесть: вся ячейка. Подсчитывая голоса, Рыбников с улыбкой глянул на бледное счастливое лицо Федора:

— Продрал единогласно!

Федор с трудом досидел до конца собрания. Он плохо понимал, о чем говорили вокруг него. Рыбников горячо нападал на Ерофея Чернова, осуждая за участие в игрищах; тот оправдывался, ссылаясь на остальных ребят. До Федора словно сквозь глухую стену долетали их голоса, а в уме своей дорогой, переплетаясь, шли мысли: «Теперь я в ихней семье свой, а то все не то... как пасынок... Вот она, моя кровная родня, с ними хорошо — плечо к плечу, стеной...»

Чей-то голос громко зыкнул:

— Цыцьте!.. Собрание считаю закрытым. Ванюха, ты перепишешь протокол?..

Загремели висячим замком, к выходу пошли, на ходу прикуривая и ежась от режущего холода, проникавшего с надворья в коридор. Федор шел вместе с Егором и Рыбниковым. По обмерзшим ступенькам сошли с крыльца и сразу ткнулись в здоровенный сугроб: намело ветром за время собрания. Егор, кряхтя, полез через сугроб первый, Федор за ним. На перекрестке Рыбников, прощаясь с Федором, крепко стиснул ему иззябшую руку, сказал, близко заглядывая в глаза:

— Смотри, Федя, не подведи! На тебя у нас надёжа. Теперь ты закомсомолился, и на тебе больше лежит ответственность за свои поступки, чем на беспартийном парне. Ну, да ты знаешь. Прощай, друг!

Федор молча потряс ему руку, хотел ответить, но горло перехватила судорога. Молча пошел догонять Егора и, чувствуя в горле все тот же вяжуще-радостный комок слез, шептал про себя:

— Обабился я... раскис... Надо потверже, не махонький, а вот не могу!.. Счастье навалилось... Давно ли думал, что на земле одно горе ходит и все люди чужие?..

XIV

Утром на следующий день Федора позвали в исполком.

— Повестка в суд. Распишись,— сказал секретарь.

Федор расписался и, отойдя к окну, прочитал повестку. Вызывают на двадцать первое число. Федор глянул на стенной

календарь и растерялся: под портретом Ильича краснела цифра «20».

Быстро направился домой и стал собираться.

— Ты куда это?— спросил Егор.

— В станицу, на суд с хозяином. Получил нынче повестку, вызывают к завтрему... Вот дела! Успею я дойтить?

Егор глянул в окошко, замазанное белой изморозью, словно тестом, нашел в голубеющем небе желтый пятачок солнца, раздумывая, проговорил:

— Что же, тридцать пять верст, по пять в час, это — добре шагать — семь часов... К ночи, гляди, доберешься.

— Ну, пойду!

— Харчей взял?

— Взял.

Егор вышел за ворота проводить, крикнул вслед:

— Шагай веселей, а то темноты прихватишь! Волки!

Федор поправил сумку, потуже перетянул ремень на коротком дубленом полушубке и широко зашагал посредине улицы, по дороге, притертой полозьями саней. Поднялся на гору. Глянул назад, на хутор, засыпанный снежной белью, и, поводя плечами, чувствуя на спине испарину, быстро пошел по направлению к станице. Под гору и на гору. Под гору и опять на гору. Засыпанные снегом, плавно плывут на горизонте синие тесемки лесов и рощиц. Голубыми искрами ослепительно сверкает снег, солнечные лучи, втыкаясь в сугробы, перепоясывают дорогу радугами.

Федор быстро шагал, постукивая костылем, попыхивая сладким на морозе дымком махорки. Верст двадцать отмерил, посмотрел на солнце, валившееся к топкой, как паутинка, волнистой черте земли, и достал из сумки кусок хлеба и сало, нарезанное тонкими ломтями. Присел возле дороги на корточки, закусил и опять пошел, стараясь согреться быстрой ходьбой.

Вечер кинул на снег лиловые отсветы. Дорога заблестела голубым, стальным блеском. На западе темнота стерла черту, отделявшую землю от неба. На ясном небе уже замаячили блудливые огоньки звезд, когда Федор вошел в станицу. В крайнем домишке, на вид неказистом и бедном, попросился переночевать. Хозяин, бородатый приветливый казак, пустил охотно.

— Ночуй, места не пролежишь!

Пожевав на ночь мерзлого сала, Федор расстелил возле печи свой полушубок, положил в головах шапку и уснул.

Проснулся по привычке с рассветом. Умылся,— хозяйка предложила разжарить сало. Закусил и — в центр станицы, на площадь. Неподалеку от здания стансовета прочел на воротах вывеску: «Народный суд 5-го участка Верхне-Донского округа».

Вошел в калитку, и первый, кого увидел во дворе, был Захар Денисович. В романовском полушубке, крытом синим сукном, обвязанный башлыком, он распрягал потную лошадь. Одевая ее попоной, случайно глянул на Федора и, скривив губы, не здороваясь, отвернулся.

Нескончаемо долго волочилось время. Часам к девяти пришел секретарь суда. Не раздеваясь, чмыкая носом, хлопнул на стол кипу дел и сонными, опухшими глазами оглядел толпу, скучившуюся в сенях. Через час пришел судья, боком протиснулся в дверь и звонко захлопнул ее.

— Федор Бойцов и Захар Благуродов!— крикнул, приоткрывая дверь, секретарь.

Поскрипывая подшитыми валенками, прошел Захар Денисович.

— Эк самогоном-то от гражданина наносит, ажник с ног валяет! Видать, до дна провонялся!— усмехаясь вслед ему, проговорил пожилой казак в потрепанной шинелишке.

Федор снял шапку и бодро шагнул через порог. Минут десять длились перекрестные вопросы нарзаседателей и судьи. Захар Денисович заикался — как видно, робел.

— Платили вы ему?— постукивая карандашом, спрашивал судья.

— Так точно... Платили...

— Чем же платили, натурой или деньгами?

— Деньгами.

— Сколько?

— Восемь рублей и хлебца вдобавок всыпал.

— Как же это так? Ведь вы ж показали, что наняли Бойцова за полтину в месяц?

— По доброте моей... Как он сирота... Благодетелем был ему... замест родного отца...— багровея, сипел Захар Денисович.

— Так...— Судья чуть приметно насмешливо улыбнулся.

Задав еще несколько вопросов, суд попросил их выйти. Было выслушано еще пять или шесть дел. Федор стоял в сенцах и видел, как Захар Денисович, собрав вокруг себя человек восемь казаков ожесточенно махал руками.

— Спрашивает, почему без договора? Вот так и возьми работника... Пришел, просит ради Христа, а оказался комсомолистом и заявляет: я, дескать, работать не буду.

— Суд идет!

Толпа хлынула в комнату. Судья скороговоркой читал начало приговора. Федор чувствовал под полушубком частое перестукиванье сердца. Кровь то приливала к голове, то снова уходила к сердцу. Слов приговора он почти не различал. Судья повысил голос:

— Руководствуясь статьей.. Захар Благуродов присуждается к уплате Бойцову Федору двенадцати рублей за два месяца работы... Не заключивший договора... за эксплуатацию несовершеннолетнего — к штрафу в размере тридцати рублей или принудительным работам сроком... Судебные издержки... Приговор окончательный...— доносился до Федора голос судьи.

Федор сбежал с крыльца и, не застегивая распахнутого полушубка, радостно про себя улыбаясь, быстро вышел за станицу. Незаметно прошел несколько верст: шагая, обдумывал происшедшее, строил

планы, как к осени будущего года заработает денег на лошадь и заживет своим маленьким хозяйством, избавя мать от нищеты.

Вспомнил о предстоящей летом работе среди батраков, и радостно согрелась грудь. Ветер дул в лицо и порошил снегом, мелкая колючая пыль застилала глаза. Неожиданно слух Федора уловил едва слышный визг полозьев и щелканье подков позади, быстро повернулся назад, как вдруг страшный удар оглоблей в грудь свалил его с ног. Падая, увидал над собой вспененную морду вороной лошади, а за ней, в облаке снежной пыли, багрово-синее лицо Захара Денисовича.

Мгновенно за ударом оглоблей свистнул над головою кнут, и ремень, сорвав с головы шапку, наискось рассек лицо.

Не чувствуя боли, сгоряча вскочил Федор на ноги и, охваченный бешенством, без шапки рванулся и побежал за санями. Захар Денисович левой рукой натягивал вожжи, удерживая скакавшую во весь карьер лошадь, а правой высоко поднимал кнут и, оборачиваясь к Федору, горланил:

— Я тебе припомню!.. Я тебе подсижу... твою мать!.. раки зимуют!..

Ветер в клочья рвал слова и душил бежавшего следом Федора. Обессилев, он остановился посреди дороги — и только тогда ощутил режущую боль в груди, почувствовал, что лицо ему жжет, стекая, соленая кровь.

XV

Оттуда, где на бугре черными проталинами просвечивала сквозь снег пахота, пришла весна. Ночью подул ветер, теплый и влажный, над хутором нависли тучи, к рассвету хлынул дождь, и снег, подтаявший раньше, расплавился в потоках воды. В степи оголилась земля, лишь ледок, державшийся на дороге и во впадинках, цепко прирос к прошлогодней траве и кочкам, прижался, словно прося защиты.

Перед началом полевых работ Федор попрощался с ребятами и, плотно уложив в сумку пожитки и литературу, которой снабдил его Рыбников, пошел в поисках заработка.

— Гляди, Федя, организовывай там!..— говорил Рыбников на прощанье.

— Ладно, сделаю. Всех в кучу соберу!— улыбался Федор.

Человек пять ребят проводили его за хутор и дождались, пока выйдет он на большак. Переваливая через первый бугор, Федор оглянулся: на прогоне кучкой стояли провожавшие. Рыбников и Егор махали снятыми картузами. Тоска ущемила Федора, когда хутор скрылся из глаз. Снова он один, как вот этот куст прошлогоднего перекати-поля, сиротливо качающийся у дороги...

С усилием превозмогая себя, Федор стал думать о том, куда идти. Окрестные хутора были бедны, и люди не нуждались в наемных руках, богаче Хреновского поселка не было в районе станицы.

Федор подумал и свернул проселком на Хреновский. Нанялся он к соседу Захара Денисовича — Пантелею Мирошникову. Дед Пантелей был высокий, высохший до костей, угрюмый старик. Троих сыновей убили в войну, вел он хозяйство со старухой и с двумя снохами.

— Ты почему, в рот те нá малину, от Захарки ушел?— при найме спросил он Федора, передвигая по лбу седые брови.

— Хозяин рассчитал.

— А как думаешь наняться?

— По уговору.

— Какой такой уговор? Моя цена на летнюю пору три рубля, а зимой ты мне и даром не нужен. Может, ты на круглый год норовишь, так мне без надобности.

— Могу и до осени.

— Словом, до скончания работ. Как отпашемся осенью, так ступай на все четыре, в рот те нá малину. Согласен — три в месяц?

— Согласен, только договор надо. Без него нельзя.

— Мне все одинаково... грамоте вот не разумею... Там небось, в рот те нá малину, расписываться надо? Ну, да Степанида, сноха, распишется.

Подписали в батрачкоме договор, и Федор с радостью взялся за работу. Дед Пантелей недели две исподтишка присматривался к новому работнику,— часто Федор ловил на себе его щупающий, пронзительный взгляд,— и наконец, к концу второй недели, вечером, когда Федор за один день вспахал бахчу и пригнал домой быков, усталых и потных, дед подошел к нему и заговорил:

— Вспахал бахчу?

— Вспахал.

— Без огрехов?

— Да.

— Плуг как пущал?

— Так, как велел, дедушка.

— Быков поил в пруду?

— Поил.

— А сколько тебе годов, паря?

— Семнадцать.

Дед шагнул к Федору, больно ухватил его за волосы и, притянув голову к своей высохшей, костлявой груди, крепко прижал ее и шершавой ладонью долго гладил мускулистую, тугую спину Федора.

— Ты дорогой работник, в рот те нá малину!.. Золотые руки!.. Останешься на зиму, коль захошь, ей-богу!..

Отпихнул Федора от себя и долго глядел на него, улыбаясь широко и светло. Федор был растроган лаской и родственным отношением к нему старика. Новый хозяин был совершенно не похож на Захара. Еще когда нанимался Федор, он спросил:

— Ты, никак, этот, как его... комсомол?— И на утвердительный ответ махнул рукою.— Меня это не касаемо. Исть будешь отдельно, не могу с тобой помещаться. Ты небось лоб-то не крестишь?

— Нет.

— Ну, вот... Я — старик, и ты не обижайся, что отделяю тебя. Мы с тобой разных грядок овощчи.

К Федору он относился хорошо: кормил сытно, дал свою домотканую одежду и не обременял непосильной работой. Федор вначале думал, что ему придется, как у Захара Денисовича, одному нести работу, но когда поехали перед пасхой пахать, то увидел, что дед Пантелей, несмотря на свою сухоту, любого молодого заткнет за пояс. Он без устали ходил за плугом, пахал чисто и любовно, а ночью по очереди с Федором стерег быков. Старик был набожный, «черным словом» не ругался и держал семью твердой рукой. Федору нравилась его постоянная поговорка: «в рот те на́ малину», нравился и сам старик, такой суровый на вид и сердечно добрый в душе.

На пасху вечером Федор повстречался в своем проулке с рябым низкорослым парнем, на вид лет двадцати. Он видел, как парень вышел из Захарова двора, и догадался, со слов деда Пантелея, что это Захаров работник. Парень поравнялся с Федором, и тот первый затеял разговор:

— Здорово, товарищ!

— Здравствуй,— нехотя ответил парень.

— Никак, у Захара Денисовича в работниках?

— Ага.

Федор подошел поближе, продолжая расспросы:

— Давно живешь?

— Четвертый месяц, с зимы.

— Почем же платит?

— Рупь и харчи.— Парень оживился и заблестел глазами.— Гутарют, что дед за трояк тебя сладил и на евоном ходишь? Правда аль брешут?

— Правда.

— Нагрел меня Захар-то...— огорченно заговорил парень.— Сулил набавить, а сам помалкивает. Работать заставляет как проклятого,— уже озлобляясь, загорячился он,— в праздники то же самое... Свою одежу сносил, а он ни денег, ни одежи не дает. Вишь, в чем на пасху щеголяю?— Парень повернулся задом, и на спине его, сквозь расшматованную вдоль рубаху, увидел Федор черный треугольник тела.

— Как тебя звать?

— Митрий. А тебя?

— Федор.

Из Захарова двора донесся гнусавый голос хозяина:

— Митька! Что ж ты, сволочь, баз не затворил?.. Иди загоняй быков!..

Митька вспугнутым козлом шарахнул через плетень и, выглядывая из густой крапивы, поманил Федора пальцем. Федор перелез через плетень, выбрал в саду место поглуше и, усадив рядом Митьку, приступил к агитации.

XVI

Каждое воскресенье вечером уходил Федор на игрища и там знакомился с другими ребятами, работавшими батраками у хреновских богатеев. Всего по поселку было восемнадцать человек батраков, из них пятнадцать — молодежь. И вот этих-то пятнадцат батраков стянул Федор всех вместе и положил начало батрацком союзу.

Уходя с игрищ, где парни из зажиточных дворов охальничали с визгливыми девками, Федор подолгу говорил с ними, убеждая примкнуть к комсомолу и принудить хозяев к заключению договоров.

Вначале ребята относились к словам Федора с насмешливым недоверием.

— Тебе хорошо рассусоливать,— кипятился сутулый Колька,— у тебя хозяин вроде апостола, а доведись до мово, так он за комсомол да за договор вязы мне набок свернет!..

— Небось не свернет!— возражал другой.

— И свернет, ежли будешь один! А ты думал — как? Один палец, к примеру, ты мне сломишь, ажник хрустнет, а ежли все их — да в кулак сожму — тогда сломишь? Нет, брат, я тебе этим кулаком жевалки вышибу!..— под дружный хохот говорил Федор.— Вот в такой кулак и мы должны слепиться. Довольно мы хозяевам за дурняка работали! Все вы получаете — кто рупь, кто полтину, а я трояк и работаю легче вас!..

— Верна-а-а!..— гудели голоса.

Собирались обычно ночью, за гумнами, и просиживали до кочетов.

На пятое воскресенье Федор внес такое предложение:

— Вот что, братва, вчера поделили траву, не ныне-завтра зачнется покос, давайте завтра объявлять хозяевам, пущай повышают жалованье и заключают договора, а нет,— мол, бросим работу!..

— Нельзя так! Дюже круто!..

— Нас повыгоняют!

— Без куска хлеба останемся!..

— Не выгонют!— багровея, закричал Федор.— Не выгонют, затем что на носу покос! Гайка у них ослабнет — без работников остаться!.. Нельзя так жить! Батрачком спрашивает: вы как наняты? Один говорит: мол, я хозяину родня; другой — «живу по знакомству». А за вас, окромя вас, никто хлопотать не будет!

После долгих споров на том и порешили.

Наутро поселок заволновался и загудел, как встревоженный выводок оводов. Вот-вот покос, а в самых богатых дворах забастовали батраки...

Утром Федор, услышав крик, выбежал за ворота.

Захар Денисович с ревом выкидывал на середину улицы

пожитки Митрия, а тот с решительным видом собирал их в кучу и глухо бубнил:

— Погоди, погоди! Просить будешь, да не вернусь!..

— Провались ты к чертовой теще, чтоб я тебя стал просить!..

Увидев Федора, Захар Денисович повернулся к кучке зажиточных мужиков, о чем-то горячо толковавших на перекрестке, и, надувая на лбу связки жил, заорал:

— Хрисьяне!.. Вот он смутьян, заправила ихний!.. В дреколья его, сукиного сына!..

Федор, сжимая кулаки, торопливо пошел к нему, но Захар Денисович, как мышь, шмыгнул в ворота и трусливо заверещал:

— Не подходи, коль жизня дорога!.. Разнесу!..

XVII

— ... Как хотите, воля ваша, а я своо работника прогонять не буду! По мне, пущай он будет партейный, лишь бы дело делал. Договор — тоже не расчет... Накину я ему трешницу на месяц, пущай, а ежли он уйдет — у меня на сотни убытку будет!..

— Правильно, кум!.. У меня вот баба захворала, с кем я должон управляться?..

— Я тоже так кумекаю.

— Вот что, братцы!.. Заключим с ими договора, набавим жалованье, как по закону, в неделю один день пущай празднуют... Ты, Захар, молчи!.. Тебя суд припрег платить тридцать рубликов! То-то оно и есть!.. До поры до времени и нам с рук сходит!

— Чего там попусту брехать! Раз подошло такое дело, значится, надо смиряться. На трешнице урежем, а сотни терять... Эка глупость-то!..

— Теперь попробуй найми!..

— Обожгешься!

— Пущай будет так!

— А этого подлеца, какой разжелудил их, проучить надо. Ученый какой нашелся, язви его...

— Федька — ить он комсомолист!.. Он, когда у меня жил, всю душу вымотал! С ножом за мной по двору гонял, спасибо — рабочие отбили, истинный бог... Да теперича попадись он мне...

— Мой сыняга говорил, они после игрищ за Федотовым гумном собираются. Там он их наставляет..

— А что, ежли двум-трем перевстреть его с колышками?..

— Поучить надо! Чтоб этой нечистью и не воняло!

— Захар Денисыч, ты пойдешь?

— Господи! Да я с великой душой!.. Мне бы колышек какой потяжельше...

— До смерти не будем.

— Там видно будет! У меня, как сердце разыграется, держись!..

— Сколько нас? Трое, что ль? Ну, пошли!..

XVIII

Вечером дед Пантелей, видя, что Федор собирается куда-то идти, улыбаясь, сказал:

— Ты, в рот те нá малину, сидел бы дома. Заварил кашу, так не рыпайся!

— А что?

— Тово, что ушибить могут!

— Небось!..— засмеялся Федор и задами пошел к гумнам.

На этот раз ребята собрались не скоро. Часа два прошло в разговорах. Настроение у всех было бодрое и веселое. Обсудив положение, поделились новостями и собрались расходиться.

— Идите врозь, чтоб люди не болтали,— предупредил Федор.

Ночь висела над степью дягтярно-темная, тучи, как лед в половодье, сталкивались и громоздились одна на другую, громыхал гром, за лесом чертила небо молния. Федор отделился от остальных ребят и пошел прежней дорогой. Сначала он хотел пройти задами, но потом раздумал и свернул в свой проулок. Присев у плетня, он хотел закурить, но порыв сухого горячего ветра потушил спичку. Сунув цигарку в карман, Федор подошел к воротам. Он ничего не ожидал и не видел, что сзади крадутся двое, а третий стоит, карауля, на перекрестке...

Едва взялся за скобку калитки, как сзади кто-то, крякнув, махнул колом. Удар пришелся Федору по затылку. Глухо застонав, он всплеснул руками и упал возле ворот, теряя сознание.

* * *

Деда Пантелея нещадно кусали блохи. Долго ворочался, кряхтел, потом скинул на землю овчинную шубу и совсем уже собрался уснуть, как вдруг с надворья послышался стон, топот ног и приглушенный свист. Свесив ноги, он прислушался. Свист повторился. «Федьку застукали!»— мелькнула у деда мысль. Прыгнув с постели, он ухватил со стены древнее шомпольное ружье, из которого стрелял на бахче в грачей, и выбежал на крыльцо. Возле ворот кто-то протяжно стонал, топотали ноги, сочно чавкали удары... Подняв курок, дед выбежал за ворота, рявкнул:

— Кто такие?!

Три темные фигуры шарахнулись в стороны.

Поведя стволом в сторону ближнего, дед Пантелей нажал собачку. Грохнул выстрел, брызнул из дула сноп огня, засвистел горох, которым заряжено было ружье... Кто-то на дороге взвыл и жмякнулся на землю... Задыхаясь, дед кинул ружье и нагнулся к темному очертанию человеческой фигуры, лежавшей возле ворот. Руки его, шарившие по голове, взмокли чем-то густым и липким. Повернув голову, он тщетно вглядывался, темнота слепила глаза. По небу ящерицей пробежала молния, и дед узнал залитое кровью лицо Федора. Подхватив безжизненное тело, дрожа и спотыкаясь,

взволок его на крыльцо и выбежал за ворота поднять ружье. Снова молния опалила небо, и дед увидел саженях в двадцати на дороге человека, сидящего на корточках. Сцапав ружье за ствол, дед Пантелей вприпрыжку подбежал к сидящему на корточках, в темноте сбил его с ног и, навалившись животом, заревел:

— Кто такой есть?

— Пусти, ради Христа... У меня весь зад и спина простреленные... Греха не боишься, сосед, по людям картечью стреляешь... Ой, больно!..

По голосу узнал дед Захара. Не владея собой, стукнул его прикладом по голове и, вцепившись в волосы, волоком потянул к крыльцу.

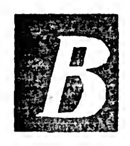
XIX

«...Дорогой наш товарищ Федя! Ты, должно быть, не знаешь, чем кончился суд? Захара Денисовича пристукали на семь лет с поражением в правах на три года, остальных двух — Михаила Дергачева и Кузьку, хреновского спекулянта,— к пяти годам. А еще сообщаем тебе, что в Хреновском поселке организована ячейка КСМ. Все твои товарищи, батраки,— пятнадцать человек, а еще шестеро беднеющих ребят вступили членами. Меня райком перебрасывает туда работать, и мы все горячо ожидаем, когда ты выздоровеешь и вернешься к нам. Егор в Даниловском поселке организовал ячейку в одиннадцать человек. Все ребята в разгоне, работают. А еще сообщаю, видел надысь я деда Пантелея, и он к тебе в больницу собирается ехать на провед и привезть харчей. Поправляйся скорее и приезжай, еще много работы, а время скачет, как лошадь, порвавшая треногу.

С комсомольским приветом к тебе ячейка РЛКСМ, а за всех ребят — Рыбников».

1926

ЧУЖАЯ КРОВЬ



филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных,— две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная, летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить... Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру,— какой по двору шарит, неположенного ищет,— прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся...

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.
Слу-ша-ем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

* * *

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца, усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей, на красных вынашивал, кохал,

нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую, глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой, шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно небось в земле червей продовольствует.

— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собаки-то штаны тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признáют свово...

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пущай уж наше переходит!— подмигивал махновский пулеметчик.— Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною,— когда холостеющая степь ложилась под ногами, покорная и истомная,— манила деда земля, звала по ночам властным, неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали,— мала ли Россия?— а однополчане-станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила. Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая?— спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.

Не показывал виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я слазю в погреб, достану?

— Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но всё же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает...

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здорóво дневали!

— Слава богу.

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

* * *

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет!

Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудно́го покроя, с чужого плеча, как видно.

— Здоро́во живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передней угол.

— Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано̀ упали... В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич!— улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего...

— Замолчи-ка, баба!..— строго прикрикнул Гаврила.— Дай человеку опомниться с морозу, успеешь... узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

— Ну как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-ак... Плохо́ у турка жилось, значится?

— Концы с концами насилу связывали.— Прохор побарабанил по столу пальцами.— Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову... Как вы тут живете при Советской власти?

— Сына вот жду... стариков, нас докармливать...— криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо:

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слыхали?

— По-разному слыхали,— отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу:

— В январе, кажись... Ну да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийска... Город такой у моря есть... Ну, обнакновенно стояли...

— Убит, что ли?..— нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединенье. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в

разъезд... Командиром у нас был подъесаул Сенин... Вот тут и случись... понимаете...

Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей горло.

— Не вой!!— грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил:— Ну, кончай!

— Срубили!..— бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку.— Срубили Петра... Насмерть... Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу...— Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку.— Петро черк за луку, а седло коню под пузо... Конь горячий, не сдержал, остался... Вот и все!..

— А ежели я не верю?..— раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно... Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами видал...

— А ежели я не хочу этому верить?!— багровея захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову:— Одного сына убить?! Кормильца?! Петьку мово?! Брешешь, сукин сын!.. Слышишь ты?! Брешешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

— Сынок!— позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал:— Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

* * *

В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках, с винтовками.

Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— В амбаре, само собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к мому хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать.— Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле:— Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!..— засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь.— Берите, проклятые!.. Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!..— упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?..— и, хмуря брови, резко переломил голос:— Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию...— Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал:— Сегодня же свези на ссыппункт!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого, обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?!

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепененье прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно

прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника...

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и, по глупому своему разуму, хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?! Овес есть?— спрашиваю. Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом,— в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота...

Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку белокурого.

* * *

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И, глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса

сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди; и от них, от талых круговин примерзшей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины...

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинуты его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло.

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

* * *

Четвертые сутки лежал он в горнице, шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра на щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ве р, налетая с

Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью,— слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошеная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее,— почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына...

Заезжал как-то командир проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, точилась кровица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Поберегем!— твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Энти того... закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашеные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем?— спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну, а мы Петром кликать будем... Сын у нас был... Петро...— пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

* * *

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдяном оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого ли или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука, с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию... Ему ить надеть нечего.

— Сама знаю! Я ить надысь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах небось забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

* * *

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названый сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез...— нехотя буркнул Гаврила.

— Ну, и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был,— провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не оступился да не упал!

Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, из рабочих.

— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать это как же пристроился?

— Из армии послали.

— Ты, что же, у них за командира был?

— Да, им был.

Было трудно спрашивать, но к этому вел:

— Значится, ты партейный?

— Коммунист,— ответил Петро, ясно улыбаясь.

И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.

Старуха, выждав время, спросила с живостью:

А семья-то есть у тебя, Петюшка?

— Ни синь пороха!.. Один, как месяц в небе!

— Родители, должно, помёрли?

— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается...

— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?

— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.

Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил, раздельно, медленно:

— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем... Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем... За это время сколько горя с тобой натерпелись; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за ро́дного... Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая... Справим тебя, женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...

За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.

Под ветром тосковали ставни.

— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать!..— Гаврила с деланной веселостью подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.

Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так! Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, тряхнул головой:

— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кормилица, не срастается, стерва! Однако работать буду, насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет.

— А там, может, навовсе останешься!— закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть.

Баюкала ли, житье ли привольное сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

* * *

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, боронили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых, Николаю.

Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом. Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.

— Мне?— удивился тот.

— Тебе. Иди читай!

Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:

— Откель оно пришло?

— С Урала.

— От кого прописано?— полюбопытствовала старуха.

— От товарищей с завода.

Гаврила насторожился.

— Всчет чего же пишут?

У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:

— Зовут на завод... Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.

— Как же?.. Стало быть, поедешь?— глухо спросил Гаврила.

— Не знаю...

* * *

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..

На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...

— Аль плохо живется?..

— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить тут? А совесть?..

— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.

— Чудно́ говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!..— бодрясь, ответил Гаврила.— Старуху обмани... скажи, что возвернешься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?...

* * *

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка.— Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни.— Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас...— И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос:— Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!..— цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..»— рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.

1926

СОДЕРЖАНИЕ

Шолохов Михаил Александрович

ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ

Редактор *А. Тимофеева*
Художник *Е. Кудинов*
Художественный редактор *Л. Тетенко*
Технический редактор *Г. Сагинова*
Корректоры *Д. Аханькова, Т. Сажина*

ИБ № 3997

Сдано в набор 12.12.86. Подписано в печать 02.03.87. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. п. л. 14,0. Усл. кр.-отт. 14,4. Уч.-изд. л. 14,8. Тираж 300 000 экз. (3-й завод 200001—300 000 экз.). Заказ 1539. Цена в пер. № 7—1 р. 40 к., в обложке—1 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 р. 20 к.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

ДОНСКИЕ РАССКАЗЫ